

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



А. ФРАНС

ТОМ ШЕСТОЙ

**ОСТРОВ
ПИНГВИНОВ**



ПЕТЕРБУРГ
МСМХІХ

Boyer

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ФРАНЦИЯ

НАСТАВНИКЪ СЪВѢЩЕНІЯ

АКАДЕМИЯ РАБОТА

A. FRANCHI



7/1/71

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

83-83
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ФРАНЦИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

АНАТОЛЯ ФРАНСА

A. FRANCE

— 1844 —

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
М. КУЗМИНА



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
при Народном Комиссариате по Просвещению

22ms

83-83
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

А. ФРАНС

ТОМ ШЕСТОЙ

ОСТРОВ
ПИНГВИНОВ

1741/2

ПЕРЕВОД
Е. БЕКЕТОВОЙ
С ПРЕДИСЛОВИЕМ
М. КУЗМИНА



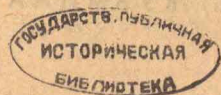
ПЕТЕРБУРГ МСМХІХ

22ms

ОСТРОВ ПИНГВИНОВ
L'ILE DES PINGOUINS

РОМАН

1907



505859



ПРЕДИСЛОВИЕ.

„Остров Пингвинов“, может быть, более, чем всякая другая книга Анатоля Франса, связан со всеми самыми различными сторонами его таланта и даже его письма. Мы узнаем и лукавого под наивной внешностью летописца, роль которого так охотно берет на себя Франс, не вполне отказываясь от нее даже в исследовании о Жанне д'Арк, и любовника древнего мира, представляющего нам его в загробном томном сиянии Елисейских полей, и насмешливого бенедиктинца, трудолюбиво собирающего легенды, которым сам не верит; мы узнаем блестящего историка отвергающего исторические методы, развенчивающего традиционный героизм и придающего героическую окраску незаметным поступкам обыкновенных людей, живущих во время исторических потрясений (как в „Боги жаждут“), сатирика современности (как в „Современной истории“), с небывалым импрессионизмом передающего в то же время ее острую прелесть, общественного мыслителя и литературного критика, социального утописта, утопии которого на наших глазах исполняются, и мы уже предчувствуем небывалые чудеса „Восстания ангелов“. Мало книг более всемирных и не было книги, может быть, после Рабле, более французской. Едва ли кто, кроме Франса, мог вызвать этого левиафана, усмирленного латинской ясностью. И другому, меньшему гению, если бы и пришла в голову такая грандиозная затея, понадобилось бы, вероятно, не меньше двадцати томов, вместо нескольких сотен воздушных страниц, где допотопные крылатые ящеры встречаются с летучими существами будущего (восставшими ангелами или Марсианами).

Менее, чем у кого угодно, у Анатоля Франса следует искать, чтобы его произведения поражали оторванностью своею от исторической и литературной последовательности. Сатирико-героические, социально-политические, пророчески-скептические, тео-

лого-аллегорические утопии и памфлеты привлекали и Аристофана, и Раблэ, и англичанина Свифта. Почти в духе „Острова Пингвинов“ начата Пушкиным „Летопись села Горохина“. Я беру самое известное. Но где есть общее, там виднее и разница. Пушкина, конечно, привлекло несоответствие важного тона повествователя с ничтожностью и скудостью содержания. Ленивое отсутствие фактов делает это произведение особенно едким для русской действительности. Раблэ запустил своей глыбой в полемизирующих с ним монахов и Сорбоннистов, и только его гений донес до нас этот пудовый памфлет. Свифт мстил английскому обществу своими пронзительными, экстравагантными „Путешествиями Гуливера“. И все-таки местами слышен журналист, поднявшийся до поэзии. Кому мстил, с кем полемизировал, кого пародировал Франс в „Острове Пингвинов“? Никого, ни с кем, никому. Он писал историю, историю Франции. Пожалуй, она могла бы походить на известную „Русскую историю“ А. Толстого, если бы Франс похож был хоть сколько нибудь на А. Толстого. Конечно, в „Острове Пингвинов“ заключается сатирическое изображение французского республиканского общества; разумеется, лукавый бенедиктинец придает комический и ограниченный характер собранным им же легендам, но собирал он их с почтительностью, хотя и насмешливой, любовно и трудолюбиво.

Но сущность „Острова Пингвинов“ отнюдь не в этом. Это не только история происхождения и развития французской буржуазной республики, но схема всех демократических эволюций; это не только история, но осмеяние исторического метода, которым пользуется сам автор. Центр тяжести охотно был бы перенесен в атмосферу отвлеченных аллегорий, вроде философских романов Вольтера, но реальный и конкретный художник не допустил этого и придал, может быть, и отвлеченным схемам конкретный характер данной именно эпохи. Оттого некоторая несогласованность стилей. Особенно разителен переход от средневековья к новым временам. Вообще, это—наименее единая по стилю книга А. Франса. Кроме только что приведенного соображения, я себе объясняю это еще и рядом годов, на протяжении которых создавалось это произведение.

Я знаю, что многие причисляют „Остров Пингвинов“ к ряду романов „с ключом“, но мне кажется, что, хотя в „Новых Временах“ ясно изображено дело Дрейфуса и очевидны портреты

Золя и других участников знаменитой эпопеи, увлекаться раскрытием заключающихся там намеков и явных указаний бесполезно, так как это занятие потеряло уже эфемерное удовольствие удовлетворенного любопытства к скандалу и не помогло бы несколько понять роман, если бы он был непонятен без комментариев. Отступая на шаг от дела Дрейфуса, всякие догадки делаются еще более праздными и почти неуместными. Нельзя сказать даже одна и та же ли святая дева Орбероза и Жанна д'Арк, житие которых не имеют ничего общего, но положение „защитницы Франции“ и вспыхнувший вдруг культ национальной святой очень похожи. Человеку, пожелавшему шаг за шагом, страницей за страницей, слыхать французскую историю повествованием Франса, встретились бы не малые затруднения и пришлось бы прибегнуть к совершенно неоправдывающим себя натяжкам. Притом мне кажется, что подобные догадки, будучи бесспорной ценности с биографической и историко-литературной точки зрения, едва ли что могут прибавить или убавить к непосредственному впечатлению от произведения искусства. Не портрет Верлена интересует нас в „Красной лилии“, не дело Дрейфуса в „Острове Пингвинов“ и „Современной истории“, а великие произведения искусства, имеющие другую жизнь, более продолжительную, чем самый громкий политический процесс и самый видный современный деятель. Действенность „Божественной комедии“ не утратилась от того, что мы забыли Гвельфов и Гибеллинов и далеки от раздираемой усобицами Италии. Конечно, и Аристофан, и Раблэ полны таких намеков, что прибавляло в глазах современников особую эфемерную остроту их творениям, но настоящее их значение и величина выяснились, может быть, именно тогда, когда отпала, как чешуя, их злободневность. Она уже отпадет от вещей Анатоля Франса, и было бы, пожалуй, медвежьей услугой поддерживать ее. Мы уже видим независимые от времени, крепкие и стройные очертания „Острова Пингвинов“, слышим божественный смех, замечаем Франсовы схемы социальных эволюций, причем художник становится под конец утопистом и пророком. После изображения социальной революции, свидетелями которой мы были, в самом конце Франс вдруг пользуется фигурой умолчания, очень для него характерной. После наступления анархии он предсказывает одичание, запустение и снова тот же путь постепенного, сначала ошущу, как впотьмах, прогресса. Выходит вроде сказки про белого бычка.

С точки зрения эстетического скептицизма, конечно, такой финал придает неожиданную и полную стройность всему роману, но, мне кажется, Анатоль Франс давно уже сам опровергнул поверхностное понятие о нем, как о скептическом эстете, и одушевлен более человечными, гуманитарными, горячими и прозрачными чувствами. В конце „Острова Пингвинов“ он слукавил и скрыл то, что знал и предчувствовал, вдруг предпочтя литературную закругленность и парадокс. Дописать предсказания „Острова Пингвинов“ и проверить их, конечно, может одно лишь время.

М. Кузмин.



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА.

Несмотря на видимое разнообразие развлечений, которые, казалось бы, привлекают меня, у меня в жизни только одна цель. Я всецело стремлюсь к выполнению великой задачи: я пишу историю пингвинов. Я тружусь над нею усидчиво, не останавливаясь перед частыми трудностями, которые кажутся порой непреодолимыми.

Я изрыл землю, чтобы найти погребенные памятники этого народа. Первыми книгами людей были камни. Я изучал камни, которые можно рассматривать, как начальные летописи пингвинов. Я раскопал на берегу океана нетронутый курган. Я нашел там, как полагается, каменные топоры, бронзовые мечи, римские монеты и монету в двадцать су с изображением Людовика-Филиппа I, короля Франции.

Для исторических времен мне очень помогла хроника Иоанна Тальпы, монаха биргарденского монастыря. Хроника эта не изданная. Единственный рукописный экземпляр ее составляет собственность академии Раблэ в Оксфорде, членом которой я имею честь состоять *). Туда рукопись попала из библиотеки св. Виктора.

Я тем обильнее черпал из этой рукописи, что другого источника для ознакомления с историей пингвинов начала средних веков еще не найдено. Начиная с тринадцатого века источников больше, но не более удачных.

*) Для удостоверения того, что я состою почетным членом академии Раблэ, я прилагаю копию моего диплома.

29 ноября 1893

Christ Church, Oxford (England).
Создателю аббата Жерома Куаньяра

Милостивый Государь.

У нас основалось небольшое общество профессоров и людей других профессий окрещенное именем Раблэ. В одном из недавних заседаний мы решили предложить вам стать почетным членом нашего общества, и мы были бы счастливы, если бы

Крайне трудно писать историю. Никак нельзя в точности знать, как происходили события, и затруднение историка увеличивается с изобилием документов. Когда факт известен только по чему-нибудь единственному свидетельству, его принимаешь без большого колебания. Недоумения начинаются, когда события передаются двумя или несколькими свидетелями, так как их свидетельства всегда противоречивы и всегда непримиримы.

Конечно, научные поводы предпочесть одно свидетельство другому бывают иногда очень убедительны, но все же не в достаточной степени для того, чтобы восторгаться над нашими страстями, нашими предрассудками и интересами и чтобы победить легкость ума, свойственную всем серьезным людям, так что мы всегда представляем факты или пристрастно, или легкомысленно.

Я только что поверял многим ученым археологам и палеографам, туземным и иноземным, трудности, испытываемые мною при составлении истории пингвинов. Я подвергся их презрению. Они посмотрели на меня с улыбкой сожаления, которая как бы говорила: «Да мы-то разве пишем историю? Разве мы пытаемся извлечь из какого-нибудь текста, документа малейшую частицу жизни или истины? Мы издаем тексты—вот и все. Мы придерживаемся в этом буквы. Только буква представляет нечто ценное и определенное. Дух не обладает этими качествами. Идеи суть фантазии. Нужно быть достаточно

вы приняли это выражение нашего почта — единственное, которое мы можем предложить, так как наше общество существует только для распространения истинной пантагрюэльской мудрости.

Мы с большим удовольствием читали „Харчевню“ и в особенности „Взгляды Жерома Куаньяра“, ибо совершенно ясно, что в этих двух книгах парит здравый смысл и юмор учителя и покровителя нашего, Франциска Рабле. Эти качества, в соединении с евангельским милосердием, очень редки, — как вы не станете отрицать, — в наши дни. Поэтому нам и хотелось поблагодарить вас за то, что вы проявили их в ваших двух книгах, и единственным способом выразить вам нашу благодарность мы сочли предложение, которое мы вам делаем. Я бы желал передать его вам в выражениях более изысканных, более подходящих к языку нашего учителя. Но, во всяком случае, вы не можете усомниться в моих добрых намерениях, и друг аббата Куаньяра поймет, что самая прекрасная дева в мире не может дать больше того, что имеет.

В надежде на ваше согласие и прося вас принять уверение в наших почтительнейших чувствах, имею честь пребывать

от имени общества

Фредерик Йорк Лоуэлл,
Christ Church Oxford.

Господину Анатолю Франсу.

суетным, чтобы писать историю, нужно иметь воображение».

Все это заключалось во взгляде и в улыбке наших ученых палеографов, и беседы с ними приводили меня в глубокое отчаяние. Однажды, когда после разговора с одним выдающимся специалистом по изучению печатей, я удручился более обыкновенного, вдруг у меня явилась вот какая мысль: «Всетаки, подумал я, историки существуют; эта порода не окончательно исчезла. Пять-шесть человек историков сохранилось еще в Академии Наук. Они не издают текстов, они пишут историю. Они не скажут мне, что только пустые люди могут предаваться такого рода работе».

Эта мысль ободрила меня.

На следующее утро (или «завтра», как и следовало бы говорить), я отправился к одному из них, тонкому старику.

— Я пришел,—говорю я ему,—воспользоваться советами вашей опытности. Я мучаюсь над составлением истории, но ничего у меня не выходит.

Пожав плечами, он ответил:

— Зачем так беспокоиться, зачем писать историю, когда гораздо проще переписать наиболее известную, как это обыкновенно и делается? Если у вас есть новая точка зрения, оригинальные мысли, если вы представляете людей и вещи в непривычном свете, вы этим удивите читателя. А читатель не любит быть удивленным. Он всегда ищет в истории только глупости, которые уже знает. Если вы попытаетесь поучать его, вы его унижите и рассердите. Не пробуйте просвещать его; он будет кричать, что вы оскорбляете его верования. Историки списывают друг у друга. Это менее утомительно и спасает их от обвинений в дерзости. Следуйте их примеру и не будьте оригинальны. Оригинальный историк возбуждает недоверие, презрение и общее отвращение.

— Неужели вы думаете,—прибавил он,—что я был бы знаменит и пользовался бы почетом, каким окружен, если бы в моих исторических книгах было что-нибудь новое? Что такое новизна? Наглость.

Он поднялся. Я поблагодарил его за любезность и направился к дверям. Он остановил меня:

— Одно слово! Если вы желаете, чтобы ваша книга была хорошо принята, прославляйте при каждом удобном случае добродетели, на которых зиждутся общества: почтение к богатству, благочестивые чувства и, в особенности, смирение бедняков, которое составляет основу порядка. Заявите, что вы отнесетесь в своей истории к происхождению собственности, аристократии, полиции со всем почтением, которого заслуживают эти учреждения. Дайте понять, что вы допускаете сверхъестественное, когда оно случается. При таких условиях вы можете иметь успех в хорошем обществе.

Я обдумал эти справедливые замечания и принял их к сведению.

Я не буду рассматривать пингвинов до их превращения. Они начинают меня касаться только с того момента, как выходят из пределов зоологии и вступают в область истории и богословия. Великий святой Маэль превратил в людей именно пингвинов, да и то нужно объяснить, так как в наше время терминология может повлечь к путанице.

Мы называем пингвинами птиц арктических стран, принадлежащих к семейству лапчатонгих. Подобных же птиц, живущих у южного полюса, называют маншотами. Такое различие делает, например, Г. Лекуант в описании своего плавания на „Belgica“^{*)}. «Из всех птиц, живущих у Герлахского пролива,—говорит он,—самые интересные, несомненно, маншоты. Их иногда неверно называют южными пингвинами». Доктор Ж. Б. Шарко, напротив того, утверждает, что настоящие и единственные пингвины—это птицы, живущие у южного полюса, те, которых мы называем маншотами. Доказательством служит ему то, что название пингвинов дали этим птицам голландцы, достигшие в 1598 году Магелланова мыса. Слово пингвин происходит от *pinguinus*—жирный, и птиц так называли, быть может, именно в виду того, что они жирные. Но если пингвинами называются маншоты,

*) M. Lecointe: „Au pays des manchots“ Bruxelles, 1904.

то как же назвать пингвинов? Доктор Ж. Б. Шарко этого нам не говорит, и это, повидимому, его нисколько не беспокоит *).

Что делать? Нужно примириться с тем, что маншоты делаются или снова делаются пингвинами. Открывая их, приобретаешь право их наименования. По крайней мере, пусть будет дозволено северным пингвинам оставаться пингвинами. Будут южные и северные пингвины, пингвины южного и северного полюса старые пингвины и бывшие маншоты. Может быть, это затруднит орнитологов, заботящихся о классификации лапчатонгих. Конечно, они спросят, подходит ли одно и то же название двум семействам, живущим на разных полюсах и отличающимся друг от друга клювом, перьями и лапами. Меня эта путаница не сбивает. Как бы велико ни было различие между моими пингвинами и пингвинами г. Ж. Б. Шарко, их сходство имеет тем более многочисленные и глубокие доказательства.

И те и другие отличаются серьезным и спокойным видом, комичной важностью, доверчивою фамильярностью, насмешливым добродушием, неловкими и торжественными манерами. И те и другие—миролюбивы, словоохотливы, жадны до зрелищ, заняты общественными делами и, может быть, несколько ревниво относятся к превосходству.

У моих северян, по правде сказать, крылья покрыты не крупными, но мелкими перышками.

Хотя ноги у них несколько меньше отставлены назад, чем у южной породы, они ходят, также выпятив грудь, подняв голову, раскачиваясь с таким же достоинством, и их гордо поднятый вверх клюв (*os sublime*), главным образом, и ввел в заблуждение апостола, принявшего их за людей.

Моя история пингвинов принадлежит—я должен это признать—к старому роду истории; она излагает ход событий, память о которых сохранилась, и указывает, насколько возможно, причины и следствия; а это относится

*) J. B. Charcot: „Journal de l'expédition antarctique française, 1903. Paris, 1905.

скорее к области искусства, нежели науки. Говорят, что такой род писания уже не удовлетворяет точные умы, и что древняя Клио показалась бы теперь пустой болтушкой. Может быть, действительно, в будущем создастся более достоверная история, история условий жизни, и она даст нам точные сведения о том, что каждый данный народ в каждую данную эпоху производил и потреблял во всех отраслях своей деятельности. Такая история будет уже не искусством, а наукой; она будет щеголять точностью, не достающей прежней истории. Но для того, чтобы возникнуть, ей нужно иметь огромный статистический материал, которого пока не существует ни в одной стране; в особенности же его нет у пингвинов. Возможно, что современные нации доставят со временем материал для такой истории. Но что касается жизни человечества в прошлом, то, боюсь, придется всегда довольствоваться старомодной историей. Интерес такого повествования в старом роде зависит главным образом от проницательности и добросовестности рассказчика.

Жизнь всякого народа, как сказал один великий пингвинский писатель, соткана из преступлений, бедствий и безумств. Пингвиния не составляет исключения из общего правила. Всетаки в ее истории есть много изумительного, и я надеюсь, что сумел осветить это надлежащим образом.

Пингвины долго оставались воинственным народом. Один из них, Жако-философ, изобразил их характер в маленькой картинке нравов, которую я привожу и которую, без сомнения, прочтут не без удовольствия.

«Мудрый Грациан путешествовал по Пингвинии во времена последних драконилов. Однажды, когда он пересекал свежую долину, где звенели в чистом воздухе колокольчики коров, он сел на скамейку у подножия дуба, вблизи одной хижины. На пороге женщина кормила грудью ребенка; мальчик играл с большой собакой; слепой старик, сидя на солнце, полураскрыв губы, впитывал дневной свет.

Хозяин дома, молодой коренастый человек, предложил Грациану хлеба и молока.

Философ из страны морских свинок вкусил от этой сельской пищи.

— Благодарю вас, любезные обитатели любезной страны,—сказал он.—Все здесь дышит радостью, согласием и миром.

При этих словах прошел пастух, играя марш на своей волынке.

— Что это за песенка! Такая живая!..—спросил Грациан.

— Это гимн войны против морских свинок,—ответил крестьянин,—у нас его все поют. Маленькие дети знают его, прежде чем научаются говорить. Все мы, пингвины, патриоты.

— Вы не любите морских свинок?

— Мы их ненавидим.

— За что вы их ненавидите?

— Станный вопрос. Разве морские свинки не соседи пингвинам?

— Конечно.

— Ну, так вот за это пингвины и ненавидят морских свинок.

— Разве это причина?

— Разумеется. Сосед—значит враг. Видите поле, которое граничит с моим? Это поле самого ненавистного для меня человека. После него мои злейшие враги—жители деревни, которая расположена по другому скату холма, у подножия той березовой рощи. В этой узкой долине, замкнутой со всех сторон, только и есть, что та деревня и наша; они враждуют между собой. Каждый раз, как наши парни встречаются с теми парнями, дело не обходится без ругани и драки. А вы хотите, чтобы пингвины не враждовали с морскими свинками. Вы, очевидно, знаете, что такое патриотизм. Что касается меня, то у меня в груди только два крика: «Да здравствуют пингвины!» «Смерть морским свинкам!»

В течение тринадцати веков пингвины воевали со всем миром с постоянным жаром и переменным счастьем.

А. Франс. Остров Пингвинов.



505859

Потом в несколько лет они потеряли вкус к тому, что так долго любили, и обнаружили явное предпочтение миру, выразив его с достоинством, конечно, но с большой искренностью. Их генералы очень легко приноровились к новому духу. Вся их армия, офицеры, унтер-офицеры и солдаты, новобранцы и ветераны, с готовностью и радостью подчинились общему желанию мира. Недовольство выказывали только писак, библиотечные крысы да безногие инвалиды, которые были неутешны.

Тот же самый Жако-философ написал нечто вроде правоучительного рассказа, в котором с силою изобразил в смешном виде различные поступки людей; в этот рассказ он включил некоторые черты из истории своей родины. Его спросили, зачем он написал эту карикатуру на историю и какую пользу, по его мнению, может извлечь из этого его родина.

— Очень большую,—ответил философ.—Когда они увидят свои действия в карикатурном виде, лишенными всего, чем можно гордиться, пингвины вернее будут судить об этих поступках, и, может быть, поумнеют.

Я бы не хотел в этой истории пропустить ничего, что может интересовать художников. Тут найдут главу о пингвинской средневековой живописи, и, если глава эта не отличается желательной полнотой, это не по моей вине, как легко убедиться, прочтя ужасный рассказ, которым я заканчиваю это предисловие.

В июне прошлого года у меня явилась мысль пойти посоветоваться о происхождении и развитии пингвинского искусства с незабвенным Фульгенцием Тапиром, ученым автором «Всеобщей летописи, живописи, скульптуры и архитектуры».

Меня ввели в его кабинет; там, у письменного стола, заваленного бесконечным количеством бумаг, сидел маленький человек, необычайно близорукий; его веки мигали за золотыми очками.

Возмещая слабость зрения, его длинный подвижной нос отличался удивительной пронирливостью при прикосновении с внешним миром. Фульгенций Тапир соприкасался с искусством и красотой именно посредством этого органа. Замечено, что во Франции музыкальные

критики по большей части глухи, а художественные критики слепы. Это располагает их к сосредоточенности, нужной для эстетических идей. Неужели вы полагаете, что имей Фульгенций Тапир глаза, способные различать формы и краски, в которые облекается таинственная природа, он достиг бы, по горе рукописных и печатных материалов, вершины научного спиритуализма и создал бы свою великую теорию, по которой искусство всех стран и всех времен сосредоточивается во французской академии, конечной цели всех стремлений?

Стены кабинета, пол и даже потолок были покрыты связанными пачками, оттопыренными папками, картонами, в которых теснилось бесчисленное количество листов бумаги, и я созерцал с изумлением и с некоторым ужасом водопад учености, готовые прорваться.

— Учитель,—сказал я с волнением,—я обращаюсь к вашей доброте и вашему знанию, зная как они неисчерпаемы. Не согласитесь ли вы руководить мною в трудном изучении происхождения пингвинского искусства?

— В моих руках,—ответил он мне,—сосредоточено все искусство,—понимаете ли, все искусство, собранное на листках, рассортированное в алфавитном порядке и по сюжетам. Я сочту своим долгом предоставить вам все, что относится к пингвинам. Поднимитесь на эту лестницу и выдвиньте картонку, которая стоит вот там наверху. В ней вы найдете все, что вам нужно.

Я повиновался, весь дрожа. Но едва я успел раскрыть роковую картонку, как из нее посыпались синие листки и, скользя промеж моих пальцев, полились дождем на пол. И вслед за ними, по симпатии, раскрылись соседние картонки, и из них тоже вырвался поток листов, розовых, зеленых и белых. Затем посыпались и из всех других картонок разноцветные листки с шелестом, похожим на журчание ручейков, сбегаящих с гор в апреле. В одну минуту они покрыли пол густым слоем бумаги. Вырываясь с возрастающим шумом из своих неисчерпаемых резервуаров, они с каждым мгновением сыпались все быстрее и быстрее. Погруженный в этот поток до колен, Фульгенций Тапир следил внимательным носом за этим

стихийным явлением. Он понял его причину и, поблестав от ужаса, воскликнул:

— Сколько искусства!

Я позвал его и нагнулся, чтобы помочь ему подняться на лестницу, которая подгибалась под бумажным дождем. Но было уже поздно. Обессиленный, жалкий в своем отчаянии, потеряв свою бархатную шапочку и золотые очки, он тщетно старался удержать своими короткими руками поток, доходивший ему уже до подмышек. Вдруг полился настоящий ливень листков, завертевший профессора, как ураган. Одно мгновение я еще видел в пропасти лоснящийся череп ученого и его жирные руки, потом бездна сомкнулась, и потоп разлился над молчанием и неподвижностью. Боясь, что и я буду поглощен вместе с лестницей, я спасся через форточку.

Киберон, 1 сентября, 1907 г.



КНИГА ПЕРВАЯ.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ.

Глава I.

Жизнь святого Маэля.

Маэль, родом из одной королевской семьи в Камбрии, с девяти лет был помещен в ивернский монастырь, где его обучали духовным и светским наукам. В четырнадцать лет он отказался от наследства и дал обет служить Господу. Он делил свои часы, согласно уставу, между пением гимнов, изучением грамматики и размышлениями о вечных истинах.

Вскоре небесное благоухание обнаружило святость обители этого монаха. И когда блаженный Гал, настоятель ивернского монастыря, перешел в лучший мир, молодой Маэль унаследовал ему руководство обителью. Он основал в монастыре школу, больницу, странноприимный дом, кузницу, всякого рода мастерские и верфи для постройки кораблей и вменил в обязанность монахам возделывание прилегающих к монастырю земель. Он собственноручно возделывал монастырский сад, работал в кузнице и учил послушников. Жизнь его текла мирно, как река, отражающая небо и оплодотворяющая поля.

Перед закатом солнца этот верный слуга Господа отправлялся на крутой морской берег, на место, которое носит еще и теперь название кресла святого Маэля. У ног его утесы, похожие на черных драконов, обросшие

зелеными водорослями и рыжим мохом, простирали навстречу пенистым волнам свою чудовищную грудь. Он смотрел, как опускалось в океан солнце, подобно алой облатке, обогая своей благодатной кровью небесные облака и гребни волн. И святой муж видел в этом изображение крестной тайны, посредством которой божественная кровь покрыла землю царственным пурпуром. Вдали темносиняя черта обрисовывала берега острова Гада, где святая Бригита, постриженная святым Галом, управляла женскою обителью.

Бригита, узнав о заслугах почтенного Маэля, попросила у него, как драгоценного дара, какого-нибудь изделия его рук. Маэль отлил для нее бронзовый колокольчик, благословил его и бросил в море. Колокольчик поплыл, звеня, к берегам Гада, где святая Бригита, услышав звон металла на водах, набожно приняла дар и, в сопровождении своих духовных дочерей, понесла его торжественной процессией при пении псалмов в часовню монастыря.

Так святой муж Маэль проводил жизнь в подвигах благочестия. Он прошел уже две трети жизненного пути и надеялся тихо дожить до конца своего земного существования в кругу духовных братьев, как вдруг узнал, по верному знаку, что мудрость Господня судила иначе, и что Господь призывает его к трудам не столь мирным, но не менее достойным.

Глава II.

Апостольское призвание святого Маэля.

Однажды, когда он шел в раздумьи по берегу спокойной бухты, защищенной естественной плотиной скал, далеко выступавших в море, он увидел выдолбленную каменную колоду, которая плыла по водам, как лодка.

На подобном судне отправлялись проповедывать Евангелие в Арморике святой Гирек, великий святой Коломбан и много других духовных лиц Шотландии и Ирландии. Некогда, святая Авоя, прибывшая из

Англии, поднялась вверх по реке Аврае в ступе из розового мрамора, в которую впоследствии сажали детей, для укрепления здоровья. Святой Вуга переплыл из Иберии в Корнуэлс на утесе, осколки которого хранятся в Пенмарче и излечивают от лихорадки паломников, которые кладут на них голову. Святой Самсон подплыл к бухте святого Михаила в гранитной чаше, которую потом назвали рифом святого Самсона. Вот почему при виде каменной колоды святой муж Маэль понял, что Господь повелевает ему обратить в христианство язычников, населявших еще берега и острова Бретани.

Он передал свой буковый посох святому мужу Будоку, поручая ему тем самым управление монастырем. Потом, взяв с собой хлеб, боченок пресной воды и святое Евангелие, он вступил в каменную колоду, которая спокойно доставила его к острову Эдику.

На этом острове постоянно свирепствует ветер. Бедняки ловят там рыбу в расселинах скал и с трудом взращивают овощи в огородах, занесенных песком и камнями и защищенных стенами из сухого, выветрившегося камня и изгородями из тамариска. В глубине острова возвышалось прекрасное фиговое дерево, широко раскинувшее свои ветви. Жители острова ему поклонялись.

И святой муж Маэль сказал им:

— Вы боготворите это дерево, потому что оно прекрасно. Значит, вы чувствительны к красоте. Вот я открою вам красоту сокровенную.

Он стал преподавать им истины Евангелия. Проставив их, он их крестил солью и водой.

Морбиганские острова были в то время многочисленнее, чем теперь, так как с тех пор многие погрузились в море. Святой Маэль обратил в христианство население шестидесяти островов. Потом он снова поплыл на своей гранитной колоде вверх по реке Аврае. После трех часов плавания он причалил к берегу, перед римском домом. Над крышей его поднимался легкий дым. Святой муж переступил порог, украшенный мозаикой, которая изображала бегущую собаку. Его встре-

тили старые супруги, Маркус Комбабус и Валерия Меренс, которые кормились там плодами своих земель. Внутренний двор дома окружен был портиком, колонны его выкрашены были в красный цвет от низа до середины. У стены стоял фонтан, украшенный раковинами, а под портиком воздвигнут был алтарь с нишей. Там хозяин дома расставил маленьких глиняных идолов, выбеленных известкой. Одни изображали крылатых детей, другие Аполлона или Меркурия, а некоторые нагую женщину, скручивающую свои волосы. Святой муж Маэль, разглядывая эти фигуры, нашел среди них изображение молодой матери с младенцем на руках.

Он тотчас же сказал, указывая на это изображение:

— Это святая дева, мать Господня. Поэт Virgilius возвестил о ней в сивиллинских песнях до ее рождения; ангельским голосом он пропел: *Jam redit et virgo*. И в языческие времена существовали пророческие изображения ее, вроде вот этого, которое ты, Марк, поставил на свой алтарь. Несомненно, она охраняла твой скромный очаг. Так те, которые точно соблюдают законы природы, подготовляются к познанию сокровенной истины.

Маркус Комбабус и Валерия Меренс, просветленные этими наставлениями, обратились в христианскую веру. Они приняли святое крещение вместе со своей юной вольноотпущенницей Целией Авителлой, которую любили, как свет очей. Все их работники тоже отреклись от язычества и приняли крещение в тот же день.

Маркус Комбабус, Валерия Меренс и Целия Авителла вели с тех пор примерную жизнь. Они почтили в Господе и были причислены к лику святых.

В течение еще тридцати семи лет блаженный Маэль продолжал обращать в христианство язычников, населявших страну. Он воздвиг двести восемнадцать часовен и семьдесят четыре аббатства.

Но однажды, находясь в городе Ванне, где он проповедывал Евангелие, он узнал, что ивернские монахи изменили в его отсутствии уставу святого Гала. Тотчас же, с хлопотливостью курицы, которая собирает своих

цыплят, он отправился к сбившимся с пути детям. Ему в то время исполнилось девяносто семь лет; спина его уже согнулась, но руки были могучи попрежнему, и речь его лилась обильно, как зимний снег в глубине долин.

Аббат Будок вернул святому Маэлю его буковый посох и рассказал ему о бедственном состоянии, в котором очутился монастырь. Монахи перессорились из-за вопроса о том, когда следует праздновать Святую Пасху. Одни стояли за римский календарь, другие за греческий, и ужасы хронологического раскола раздирали монастырь.

Была еще одна причина смуты. Монахини острова Гада, отступившиеся от своей первоначальной строгой нравственности, поминутно приезжали в лодках на ивернский берег. Монахи принимали их в странноприимном доме, и следствием этого были бесчинства, погружавшие в отчаяние благочестивые души.

Закончив свой точный отчет, аббат Будок прибавил:

— С тех пор, как появились у нас монахини, наступил конец невинности и душевному покою наших иноков.

— Я вполне этому верю, — ответил блаженный Маэль. — Женщина — западня, хитро устроенная; в нее попадаешься, как только ее почувешь... Увы! Очаровательный соблазн этих созданий еще могущественнее действует издали, нежели вблизи. Они тем сильнее будят страсть, чем меньше ее удовлетворяют. Вот почему поэт сказал одной из нас: «При вас я вас бегу, без вас я нахожу вас». И мы видим, сын мой, что обольщения плотской страсти сильнее действуют на отшельников и монахов, нежели на мирян. Демон сладострастия искушал меня всю жизнь на разные лады, и наибольшее искушение я испытал вовсе не от встречи с какой-нибудь женщиной, хотя бы прекрасной и благоуханной. Сильнее всего искушал меня образ одной отсутствующей женщины. И теперь еще, когда я стар, когда мне скоро исполнится девяносто семь лет, враг смущает меня, и я часто грешу против целомудрия, по крайней мере, в мыслях. Ночью, когда мне холодно в постели, и мои

старые остывшие кости глухо постукивают одна о другую, я слышу голоса, которые читают второй стих третьей книги Царств: «И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего царя отроковицы девственной, чтобы предстояла пред царем и ухаживала за ним и спала бы у груди его; тогда будет тепло господину нашему царю». И дьявол показывал мне юную деву, которая говорит мне: «Я твоя Абигаиль; я твоя Суламита. О, господин, раздели свое ложе со мною!»

— Поверьте мне, — прибавил старик, — что только при особой помощи свыше монах может сохранить целомудрие на деле и в мыслях.

Взявшись тотчас же за восстановление чистоты нравов и мира в монастыре, он выправил календарь по данным хронологии и астрономии и велел всем монахам держаться этого исправленного календаря. Затем он отправил павших духовных дочерей святой Бригиты обратно в их монастырь. Но он не выгнал их с позором, а велел отвести их на корабль с пением псалмов и молитв.

— Нужно уважать в их лице, — сказал он, — дочерей Бригиты и невест Христа. Не будем уподобляться фарисеям, которые кичливо презирают грешниц. Нужно унижить этих женщин в их грехе, а не в их человеческом достоинстве. Нужно, чтобы они устыдились своих поступков, а не самих себя, ибо сами они создания Господа.

И святой муж стал убеждать монахов в необходимости строго держаться монастырского устава.

— Когда корабль не повинуется рулю, — сказал он им, — он повинуется подводным камням.

Глава III.

Искушение святого Маэля.

Едва блаженный Маэль восстановил порядок в ивернском аббатстве, как узнал, что жители острова Эдика, первые из обращенных, наиболее дорогие его сердцу, вернулись к язычеству и снова вешают венки и

шерстяные повязки на ветви священного фигового дерева.

Лодочник, который привез эти печальные вести, выразил опасение, как бы эти заблудшие люди в скором времени не истребили огнем и мечом часовню, воздвигнутую на берегу их острова.

Святой муж решил безотлагательно посетить неверных чад, чтобы вернуть их к вере и удержать от святотатственных неистовств. Направляясь к пустынной бухте, где стояла его каменная ладья, он устремил взор к верфи, которую построил за тридцать лет до того в глубине бухты для сооружения кораблей и откуда теперь доносился стук молотков и визг пил.

В эту минуту дьявол, вечно неутомимый, вышел из верфи, приблизился к святому мужу, под видом монаха по имени Самсон, и стал искушать Маэля следующими словами:

— Отец мой, жители острова Эдика непрерывно грешат. С каждой убегаящей минутой они все более удаляются от Бога. Они скоро разрушат огнем и мечом часовню, которую вы воздвигли на берегу своими праведными руками. Время не терпит. Как вы полагаете, не довезла ли бы вас скорее ваша каменная колода, если бы ее оснастить как лодку и снабдить рулем, мачтой и парусом? Тогда бы вас погонял ветер. Руки у вас еще сильные, и вы отлично сможете управлять судном. Хорошо бы также приделать острый форштевень к вашей апостольской колоде. Но вы так мудры, что наверное сами подумали об этом.

— Время, конечно, не терпит, — ответил святой муж. — Но если я послушаюсь вашего совета, сын мой Самсон, не уподоблюсь ли я людям малой веры, которые не полагаются во всем на Господа? Не выкажу ли я этим иренебрежения к дарам Того, Кто послал мне каменную колоду без снастей и парусов?

На этот вопрос дьявол, который силен в богословии, ответил другим вопросом:

— Отец мой, похвально ли ждать, скрестив руки, вмешательства свыше и требовать всего у Всемогущего,

вместо того, чтобы действовать согласно человеческому разумению и самому делать все нужное?

— Конечно, — ответил святой старец Маэль, — не поступать по человеческому разумению значит искушать Господа.

— Так значит, — подхватил дьявол, — благоразумнее всего было бы теперь оснастить колоду.

— Да, если бы без этого не было возможности доехать до места назначения.

— А вы полагаете, что ваша колода и так вас скоро довезет?

— Так скоро, как угодно будет Господу.

— Почему вы знаете? Она движется, как мул аббата Будока. Настоящий лапоть. Разве вам запрещено ускорить ее ход?

— Сын мой, в ваших речах видно много ума, но вы слишком резки в своих суждениях. Не забудьте, что колода эта чудесная.

— Конечно. Когда каменная колода плавает по воде, как пробка, то в этом нельзя не видеть чуда. Но что же из этого следует?

— Я не знаю, как быть. Следует ли усовершенствовать естественными и человеческими средствами столь чудесное сооружение?

— Отец мой, если бы вы лишились правой ноги и если бы Господь вернул вам ее, была ли бы эта нога чудесной?

— Несомненно, сын мой.

— А стали бы вы ее обувать?

— Непременно.

— Так если вы полагаете, что можно надеть естественный сапог на чудесную ногу, то почему же нельзя естественным образом оснастить чудесное судно? Это ясно. Но, к несчастью, самые святые люди подвержены иногда малодушию и слепоте. Вы самый великий апостол Бретани и могли бы совершить дела, достойные вечной хвалы... но дух ваш медлителен и рука ленива. Прощайте, отец. Продолжайте плыть, не спеша, и когда вы, наконец, доберетесь до Эдика, вы увидите дымящиеся развалины часовни, воздвигнутой и освященной

вами. Язычники сожгут ее вместе с дьяконом, которого вы там оставили. Его поджарят, как угря.

— Я крайне смущен, — сказал служитель Господа, утирая рукавом лоб, влажный от пота. — Но скажи, сын мой Самсон: вед оснастить такую каменную колоду вовсе не такое легкое дело. Не потеряем ли мы больше времени, чем выиграем, взявшись за это?

— Да нет же, отец, — воскликнул дьявол. — В один оборот песочных часов все будет готово. Мы найдем снасти в верфи, которую вы когда-то устроили, и в кладовых, где накоплено всего вдоволь, благодаря вашим заботам. Я сам пригоню все, как следует. Прежде чем стать монахом, я был матросом и плотником и знал разные другие ремесла. Скорее за работу!

Он тотчас же увлек святого мужа в сарай, где они нашли все корабельные принадлежности.

— Вот, возьмите, отец, — сказал он и взвалил ему на плечи холст, мачту, гафель и гик.

Потом, захватив сам форштевень и руль с рудерписом и взяв мешок с плотничьими инструментами, он побежал к берегу, таща за платье святого мужа, согнувшегося, вспотевшего и задыхавшегося под тяжестью холста и бревен.

Глава IV.

Плавание святого Маэля по Ледовитому океану.

Дьявол, подобрав платье и подвязав его под мышками, вытащил колоду на берег и оснастил ее менее, чем в час.

Едва святой муж Маэль сел на судно, как эта колода, распустив все паруса, стала так быстро рассекал волны, что берег очень скоро исчез из виду. Старик правил к югу, намереваясь обогнуть мыс Лэндс-Энд. Но непреодолимое течение несло его к юго-западу. Он пошел вдоль южного берега Ирландии и круто повернул к северу. К вечеру ветер освежел. Маэль тщетно пытался свернуть паруса. Колода безумно неслась к сказочным морям.

При лунном свете толстые северные сирены с льняными волосами вздымали вокруг него свои белые горла и розоватые спины. Рассекая пену изумрудными хвостами, они стройно пели:

Куда несешься, кроткий Маэль,
На безумной своей колоде?
Твой парус вздут,
Как грудь Юноны,
Когда из него исторгся млечный путь.

При свете звезд они преследовали его с минуту своим гармоничным смехом. Но колода неслась во сто раз быстрее, чем красный корабль викинга. И буревестники, настигнутые на лету, запутывались лапами в волосах святого мужа.

Вскоре поднялась буря, полная мрака и стенаний, и колода неслась под напором бешеного ветра, как чайка в тумане.

После ночи, длившейся трое суток, мрак вдруг раздвинулся, и святой муж увидел на горизонте берег, блестящее алмаза. Берег этот быстро увеличивался, и вскоре, при ледяном блеске низкого неподвижного солнца, Маэль увидел поднимающийся из воды белый город с безмолвными улицами; более обширный, чем стовратные Фивы, город этот простирал до самого горизонта развалины своего снежного форума, своих дворцов из инея, своих хрустальных сводов и радужных обелисков.

Океан был покрыт огромными льдинами, вокруг которых плавали моржи с дикими и кроткими взглядами. Проплыл и левиафан, выпуская столб воды до облаков.

На большой льдине, которая плавала рядом с каменной колодой, сидела белая медведица, держа в своих лапах детеныша, и Маэль слышал, как она тихо произнесла стих из Виргилия: *Incipe parve puer.*

И старец, опечаленный и смущенный, заплакал.

Пресная вода замерзла, и боченок, в котором она сохранилась, лопнул от напора льда. Маэль сосал льдинки, чтобы утолить жажду. И хлеб свой он ел смоченным в со-

ленной воде. Его борода и волосы ломались, точно они были из стекла. Платье, покрытое слоем льда, мешало движению членов. Чудовищные волны вздымались, и пенящиеся пасти их раскрывались навстречу старику. Двадцать раз вода заливала ладью. И святое Евангелие, которое апостол хранил как драгоценность в пурпурной обложке с золотым крестом, было тоже поглощено океаном.

На тридцатый день море успокоилось. И вдруг, при оглушительном шуме на небе и на воде, к каменной ладье приближается гора ослепительной белизны, высотой в триста футов. Маэль налегает на руль, чтобы обогнуть ее, но руль ломается у него в руках. Чтобы отдалить столкновение с горой, он пробует взять риф, но когда он хочет связать линьки, ветер вырывает их у него и трос жжет ему руки. В эту минуту он замечает трех чертей с крючковатыми крыльями из черной кожи; виса на снастях, они дуют в паруса.

Поняв из этого, что во всех этих делах им руководил враг, Маэль ограждает себя крестным знаменем. Тотчас же поднимается страшный ветер, который с громким воем вздымает каменную ладью, срывает руль и форштевень и уносит снасти.

Ладья понеслась по течению на успокоившихся волнах. Святой муж, став на колени, вознес благодарение Господу, спасшему его из сетей дьявола. Тогда он снова увидел сидящую на льдине медведицу-мать, которая говорила во время бури. Она прижимала к груди свое любимое дитя и держала в руках книгу в пурпурной обложке с золотым крестом. Приблизившись к гранитной колоде, она приветствовала святого мужа словами:

— Pax tibi, Maël.

И протянула ему книгу.

Святой муж узнал свое Евангелие и, крайне изумленный, пропел в потеплевшем воздухе гимн Творцу и его творению.

Глава V.

Крещение пингвинов.

Проплыв около часа вниз по течению, святой муж причалил к узкому берегу, замкнутому отвесными скалами. Он проходил день и ночь вдоль берега, огибая скалы, составлявшие неприступную стену. Он убедился таким образом, что остров круглый, и что по середине его возвышается гора, увенчанная облаками. Он вдыхал с радостью свежесть влажного воздуха. Шел дождь, и этот дождь был так сладостен, что святой муж сказал Господу:

— Господи, вот остров покаяния, остров слез.

Берег был пустынный. Истощенный голодом и усталостью, он сел на камень, в расщелинах которого лежали желтые, величиной с лебединые, яйца с черными пятнышками. Но он не тронул их, сказав:

— Птицы живая хвала Господу. Я не хочу, чтобы по моей вине убавилось хотя бы на одну хвалу.

Он оторвал от камня кусочек моха и пожевал его.

Святой муж обошел, таким образом, почти вокруг всего острова, не встретив никого из обитателей страны. Наконец, он пришел к широкому амфитеатру, образовавшемуся из стоявших кругом бурых и красных утесов с шумевшими в них водопадами. Верхушки утесов синели в облаках.

Преломление света на полярных льдах жгло глаза старику. Но все-таки слабый свет проникал еще через его распухшие веки. Он разглядел толпу живых существ, толпившихся на выступах утесов, подобно людям, занимающим места на скамейках амфитеатра. И в то же время слух его, оглушенный продолжительным шумом моря, слабо различал звуки голосов. Полагая, что пред ним люди, живущие согласно природе, и что Господь послал его к ним с целью обратить их в христианство, он стал проповедывать им Евангелие.

Встав на высокий камень среди дикого цирка, он обратился к ним с речью:

— Обитатели острова,—сказал он,—хотя вы малы ростом, все же вы кажетесь не племенем рыболовов и моряков, а сенатом мудрой республики. Своей важностью, своим молчанием, своим спокойным поведением вы уподобляетесь римским сенаторам, обсуждающим дела в храме Победы, или, вернее, афинским философам, ведущим споры на скамьях Ареопага. Конечно, вы не обладаете ни их знаниями, ни их гениальностью, но, быть может, вы более угодны Господу, чем они. Я предчувствую, что вы—просты и добры. Обходя берег вашего острова, я не встретил ничего, говорящего об убийствах, не видел никаких следов кровопролития, не видел неприятельских голов, привешанных за волосы на высокий шест или прибитых гвоздями у входа в деревни. Мне кажется, что вам совсем неведомы искусства и что вы не обрабатываете металлов. Но сердца ваши чисты и руки ваши невинны. Истина легко войдет в ваши души.

Существа, которых он принял за людей маленького роста, но важного вида, были пингвины; их свела в это место весна. Они расположились парами на естественных ступенях утеса, величественно выставляя на показ свои толстые белые животы. Временами они хлопали крыльями и выпускали мирные возгласы. Они не боялись людей, потому что не знали их и никогда от них не страдали. Кроме того, в этом монахе чувствовалась доброта, которая успокаивала самых пугливых животных, и очень понравилась пингвинам. Они обратили к нему с дружелюбным любопытством свои маленькие круглые глаза, удлиненные белым продолговатым пятном, придававшим их взгляду что-то странное и человеческое. Тронутый их вниманием, святой муж стал преподавать им Евангелие.

— Обитатели острова,—сказал он,—дневной свет, поднимающийся теперь на ваших скалах—подобие внутреннего света, который озарит ваши души. Я принес вам внутренний свет и тепло для души. Так же, как от лучей солнца тают льды ваших гор, так Иисус Христос растопит лед ваших сердец.

Так говорил старик. И так как в природе голос всегда

манит к себе другие голоса, так как все, что дышит и живет светом дня, любит пение чередующихся голосов, то пингвины ответили старику своими криками. И голос их звучал мягко, потому что они переживали пору любви.

И святой муж, уверенный, что они принадлежат к какому-нибудь языческому племени и выражают на своем языке свое желание перейти в христианство, предложил им принять крещение.

— Я полагаю,—сказал он,—что вы часто купаетесь. Все углубления в ваших скалах полны чистой воды, и я видел, отправляясь сюда, как некоторые из вас погружались в эти естественные бассейны. А чистота тела подобие чистоты духовной.

И он объяснил им происхождение, свойства и следствия крещения.

— Крещение,—сказал он им,—это Восприятие, Возрождение, Преображение, Просветление.

И он объяснил им каждое из этих определений.

Потом, предварительно благословив воду, лившуюся из водопадов, и прочитав заклинания, он окрестил тех, которых просветил, пролив на голову каждого из них каплю чистой воды и произнося заповедные слова.

И он крестил птиц в течение трех дней и трех ночей.

Глава VI.

Совещание в раю.

Когда в раю узнали о крещении пингвинов, это не вызвало ни радости, ни печали, а только чрезвычайное изумление. Сам Господь был в затруднении. Были созваны ученые и доктора для решения вопроса, считают ли они это крещение действительным.

— Оно не имеет никакой силы,—сказал святой Патрик.

— Почему?—спросил святой Гал, который обратил в христианство весь Корнуэлс и наставлял при жизни святого мужа Маэля в апостольских трудах.

— Таинство крещения недействительно,—ответил свя-

той Патрик,—когда оно обращено на птиц, так же, как не действительно таинство бракосочетания, если оно совершено над евнухом.

Но святой Гал возразил:

— Что общего между крещением птицы и браком евнуха?—ничего. Бракосочетание, если можно так выразиться, таинство условное, предполагающее нечто впереди. Священник заранее благословляет некий акт, и если акт не свершится, то благословение не окажет никакого действия. Это так ясно, что не требует доказательств. Я знал при жизни в городе Антриме богатого человека, которого звали Садоком. Он состоял в незаконной связи с одной женщиной и прижил с нею девять детей. На старости лет, уступив моим увещаниям, он согласился обвенчаться с нею, и я благословил их союз. К несчастью, престарелые годы Садока помешали осуществлению брака. Вскоре после того он потерял все свое состояние, и Жермена, так звали женщину, не чувствуя себя в силах выносить нужду, потребовала расторжения брака на том основании, что он не был действительным. Папа исполнил ее требование, так как оно было справедливо. Вот как обстоит дело с браком. Но крещение не предполагает никаких ограничений и условий, и относительно него не может быть вопроса: над пингвинами было совершено таинство.

Когда обратились к папе, святому Дамасию, прося его высказать свое мнение, он дал следующий ответ:

— Чтобы решить, действительно ли крещение и проявится ли его действие, то-есть приведет ли оно к освящению крещеного, нужно знать, кем, а не над кем крещение было совершено. Освящающая сила этого таинства является следствием внешнего действия, через посредство которого оно совершается, и тот, кого крестят, сам ничем не способствует своему освящению. Если бы это не было так, то не крестили бы новорожденных. И для того, чтобы крестить, не нужно выполнять никаких особых условий. Нет необходимости быть в состоянии благодати. Достаточно сделать то, что делает церковь, произнести установ-

ленные слова и выполнить предписанные формальности. Мы не можем усомниться в том, что высокочтимый Маэль все это выполнил. Значит, пингвины крещены.

— Вы думаете?—возразил святой Генолэ.—Что представляет собой, по вашему, крещение? Крещение—это перерождение, путем которого человек наново рождается из воды и духа: входя в воду, он покрыт грехами, а выходит новообращенным, новым созданием, обладающим даром праведности; крещение—зерно бессмертия; крещение—залог воскресения; крещение—это погребение с Христом в его смерти и приобщение при выходе из гробницы. Такой дар невозможно сделать птицам. Рассудите сами, отцы. Крещение смывает первородный грех; пингвины же не зачаты в грехе. Крещение освобождает от кар за грехи; пингвины не грешат. Оно создает благодать и рождает праведность, соединяя христиан с Иисусом Христом, как члены тела с головой, а ведь ясно, что пингвины не могут обрести добродетелей, свойственных исповедникам, чистым девам и вдовам, не могут обрести благодати и соединиться...

Святой Дамасий не дал ему закончить:

— Это только доказывает,—сказал он живо,—что крещение было бесполезно, но не доказывает его недействительности.

— Но в таком случае,—возразил святой Генолэ,—можно было бы окрестить во Имя Отца, Сына и Св. Духа окроплением или погружением в воду не только птицу или четвероногое животное, но и всякий неодушевленный предмет, статую, стол, стул и так далее. И это животное было бы христианином, этот идол, этот стол были бы христианами. Какая нелепость!

Следующим заговорил святой Августин. Водворилось глубокое молчание.

— Я покажу вам,—сказал пламенный епископ гиппонский,—на примере могущество обрядовых слов. В данном случае, правда, дело шло о демонском заклятии. Но если слова, которым научает дьявол, оказывают действие на животных, лишенных разума, или даже на бездушные предметы, то как сомневаться в том, что действие

священных слов и обрядов распространяется на животных и на недвижимую материю? Вот этот пример: В городе Мадауре, родине философа Апулея, жила при моей жизни колдунья, которой достаточно было сжечь на треножнике вместе с известными травами и произнося определенные слова несколько волос, срезанных с головы какого-нибудь человека, чтобы привлечь этого человека тотчас к себе на ложе. Однажды, когда она хотела приворожить к себе этим путем одного юношу, она сожгла, обманутая служанкой, вместо волос юноши, волосы, вырванные из козьего меха, висевшего в одном кабачке. И вот ночью козий мех, полный вина, прыгая по всему городу, доскакал до дверей колдуньи. Это достоверный факт. И в таинствах, как и в колдовстве, действующей силой становится произнесенное слово. Действие же святых слов не может быть менее могущественным, чем действие адских заклятий.

Сказав это, великий Августин сел на свое место среди общих рукоплесканий.

После него попросил слова уже пожилой блаженный меланхолического вида. Его никто не знал. Его звали Пробом, и он не был внесен в списки святых.

— Прошу почтенное собрание простить меня,—сказал он.—У меня нет ореола, и я достиг вечного блаженства без всякого блеска. Но после того, что вам сказал великий святой Августин, я считаю полезным рассказать вам о том, как я убедился на собственном печальном опыте, что таинства действительны только при наличии необходимых условий. Епископ гиппонский верно сказал: таинство зависит от формы. Сила его в форме, вред его в форме. Выслушайте, исповедники и папы, мою плачевную историю. Я был священником в Риме в правление императора Гордиана. Не отличаясь, как вы, исключительными достоинствами, я благочестиво служил церкви. Я был в течение сорока лет священником при церкви святой Модесты-вне-стен. Мои привычки были правильны. Каждую субботу я отправлялся к кабачнику Барьясу, который расположился с своими амфорами у капенских ворот, и покупал у него вино, которым служил всю не-

делю. За все это долгое время я служил обедни каждое утро, не пропуская ни единого дня. И всетаки я был безрадостен и с тяжелым сердцем вопрошал на ступенях алтаря: «Почему ты печальна, душа моя? и почему ты смущаешь меня?» Верующие, которых я причащал, причиняли мне много горя, ибо, еще не проглотив облатки, положенной моими руками, они снова впадали в грех, словно таинство не оказывало на них никакого действия. Наконец, я дошел до конца моих земных испытаний и, почив в Господе, проснулся в жилище праведных. Тогда я узнал из уст ангела, который вознес меня на небо, что кабатчик Барьяс у капенских ворот продавал под названием вина отвар из корней и древесной коры, в который не входила ни единая капля виноградного сока. Я не мог претворить эту негодную смесь в кровь, ибо она не была вином, а только вино претворяется в кровь Христову. Мое освящение было, поэтому, недействительно; сами того не зная, я и моя паства были в течение сорока лет лишены святого причастия и тем самым как бы отлучены от церкви. Это открытие преисполнило меня ужасом, от которого я не могу оправиться до сих пор; печаль не покидает меня и здесь, в жилище блаженных праведников. Я неустанно хожу во все стороны и не встречаю ни одного из христиан, которых я когда-то причащал в базилике блаженной Модесты. Лишенные ангельского хлеба, они без сопротивления предавались самым гнусным порокам и попали все в ад. Надеюсь, что и кабатчик Барьяс в аду. Во всем этом есть, конечно, логика, достойная создателя всяческой логики. И все же на примере моего несчастья видно, до чего иногда пагубен перевес формы над содержанием в церковных таинствах. Я смиренно спрашиваю: не может ли мудрость Господня исправить это зло?

— Нет,—ответил Господь.—Лекарство было бы опаснее самой болезни. Если бы в деле спасения души сущность получила перевес над формой, наступил бы конец священству.

— О, Господи!—сказал со вздохом смиренный Проб,—поверьте моему печальному опыту: поскольку таинства будут сводиться к формальной стороне, божественное

правосудие будет наталкиваться на страшные препятствия.

— Я знаю это лучше вас,—возразил Господь.—Я вижу одновременно и трудно разрешимые теперешние задачи и задачи будущего, не менее трудные. Я мог бы, таким образом, возвестить вам, что после того, как солнце обойдет вокруг земли еще двести сорок раз...

— Божественный язык!—воскликнули ангелы.

— Достойный создателя мира,—откликнулись папы.

— Это,—продолжал Господь,—выражение, соответствующее моей старой космогонии; отказать от нее трудно, не изменяя своей неизменяемости... Итак, после того, как солнце обойдет двести сорок раз вокруг земли, в Риме не останется ни одного служителя церкви, знающего по-латыни. Читая литании в церквях, будут звать к святым Оришелю, Рогелю и Тортишелю, а это, как вам известно, дьяволы, а не ангелы. Много воров, которые хотели бы причаститься, но боятся, что в уплату за причастие им придется отдать церкви украденные вещи, будут ходить исповедываться к бродячим священникам, не знающим ни по-латыни, ни по-итальянски. Говоря только на своих местных наречиях, эти священники будут бродить по городам и селам и продавать за ничтожную плату, часто просто за бутылку вина, отпущение грехов. Весьма вероятно, что нам дела не будет до этих отпущений, потому что они не будут сопровождаться раскаянием и не будут поэтому действительны; но крещения еще, вероятно, доставят нам много хлопот. Священники сделаются до того невежественными, что станут крестить детей *in nomine patris et filii et spiritus sancti*, как Луи де Потер с удовольствием расскажет в третьем томе своей «Философской, политической и критической истории христианства». Трудно будет устанавливать действительность таких крещений. Хотя в священных текстах допущен и менее изящный греческий язык, чем платоновский, так же как и не цидероновская латынь, но все же нельзя допустить полную тарабарщину в литургии. Страшно подумать, что миллионы новорожденных будут так неправильно крещены. Но вернемся к нашим пингвинам.

— Мы уже вернулись к ним,—сказал святой Гал.—В символах веры и молитвах о спасении души должна преобладать формальная сторона, и действительность таинства зависит исключительно от его формы. Весь вопрос в том, по правилам ли крещены пингвины или нет. А в этом отношении, кажется, нет сомнения.

Отцы и доктора согласились с ним, но это только увеличило их сомнения и колебания.

— Приобщение к христианству связано с большими неудобствами и трудностями для пингвинов,—сказал святой Корнелий.—Им придется думать о спасении души. Как же им быть? Нравы птиц во многих отношениях противоречат велениям церкви. А пингвины не имеют основания менять свою жизнь. Я хочу этим сказать, что они недостаточно разумны, чтобы обрести лучшие нравы.

— Они и не могут менять своей природы. Мои веления запрещают это,—сказал Господь.

— Все-таки,—снова начал святой Корнелий,—в силу крещения их действия не могут оставаться отныне безразличными. После крещения они становятся хорошими или дурными, достойными похвалы или осуждения.

— В этом-то и вопрос,—сказал Господь.

— Я вижу только один исход,—сказал святой Августин.—Пингвины все пойдут в ад.

— Но у них нет души,—заметил святой Ириней.

— Это досадно,—со вздохом произнес Тертуллиан.

— Конечно,—возразил святой Гал.—И я признаю, что святой муж Маэль, мой ученик, создал в своем слепом рвении большие богословские затруднения и внес беспорядок в экономию таинств.

— Старый дурак,—воскликнул, пожимая плечами, Адьютор Эльзасский.

Но Господь, обернувшись с упреком к Адьютору, произнес:

— Позвольте, святой муж Маэль не обладает, как вы, блаженный муж, врожденным знанием. Он меня не видит. Он немощный старик, наполовину глухой и на три

четверти слепой. Вы слишком строги к нему. Но нельзя отрицать, что положение действительно затруднительное.

— К счастью, это беспорядок временный,—сказал святой Ириней.—Пингвины крещены, но яйца их не крещены, и зло остановится на теперешнем поколении.

— Не говорите этого, Ириней мой сын,—сказал Господь.—Правила, которые устанавливают на земле физические, допускают исключения, потому что они не совершенны и не применимы с полной точностью к природе. Правила же, которые установлены Мною, совершенны и не допускают никаких исключений. Нужно решить судьбу крещеных пингвинов, не нарушая божественных законов и соответственно декалогу, как заповедям церкви.

— Господи, дай им бессмертную душу!—сказал святой Григорий Назианзин.

— Что бы они с ней сделали?—спросил со вздохом Ланктанций.—У них нет звучного голоса, чтобы петь хвалу Господу. Они не сумеют свершать церковные таинства.

— Конечно,—сказал святой Августин.—Они не будут исполнять законы Господни.

— Они и не смогут их выполнять,—сказал Господь.

— Они и не смогут их выполнять,—продолжал святой Августин.—И если мудрость Господня дарует им бессмертную душу, они будут вечно гореть в аду, в силу праведных велений Господних. Таким образом, восстановится порядок, нарушенный этим старым камбрийцем.

— Вы предлагаете, сын Моники, верное решение,—сказал Господь,—согласно Моей мудрости. Но оно не удовлетворяет Моего милосердия. И, будучи по существу неизменным, по мере того, как Я существую, Я все более склоняюсь к мягкости. Эта перемена характера очень заметна тем, кто читает Ветхий и Новый завет.

Так как споры продолжались, не приводя ни к каким решениям, и блаженные праведники повторяли все одно и то же, то собрание решило обратиться к святой Катерине. Так всегда поступали в затруднительных случаях. Святая Катерина переспорила при жизни пятьдесят ученых докторов. Она знала философию Платона так же, как священное Писание, и владела риторикой.

Глава VII.

Совещание в раю.

(Продолжение и конец).

Святая Катерина явилась на совещание в венце из изумрудов, сапфиров и жемчуга на голове и одетая в платье из золотой парчи. Она держала сбоку пылающее колесо, как эмблему того колеса, осколки которого попали в ее мучителей.

Когда Господь предложил ей высказаться, она сказала следующее:

— Для того, чтобы решить вопрос, который вам угодно мне предложить,—начала она,—я не стану говорить о нравах всех животных, вообще, и птиц, в частности. Я только обращаю внимание докторов, исповедников и пап, собравшихся здесь на совещание, на то, что отличие между человеком и животным не полное, так как существуют чудовища, относящиеся наполовину к людям, наполовину к животным. Таковы химеры,—полу-нимфы, полу-змеи, горгоны с козьими ногами, сциллы и сирены, поющие на море. У них грудь женщины и хвост рыбы. Таковы также кентавры, люди до пояса и лошади от пояса вниз. Это чудовища благородной породы. Один кентавр, как вам известно, сумел, следуя только внушениям своего разума, обрести вечное блаженство, и вы видите иногда, как гордо вырисовывается на золотых облаках его геройская грудь. Кентавр Хирон был допущен за свои земные труды в жилища блаженных: он был воспитателем Ахилла. И этот юный герой, выйдя из-под опеки кентавра, прожил два года в одежде юной девы среди дочерей короля Ликомеда. Он делил их игры, а также их ложе, не возбуждая ни в ком ни малейших подозрений, что он не такая же юная дева, как они. Хирон, который воспитал его в правилах столь строгой нравственности, вместе с императором Траяном, единственный праведник, который обрел небесную славу, соблюдая законы приро-

ды. А между тем, он был лишь получеловек. Я хотела доказать этим примером, что достаточно иметь всего несколько органов человеческих с условием, чтобы это были благородные органы,—для того, чтобы заслужить вечное блаженство. И если Хирон смог обрести спасение, не будучи крещеным, почему бы пингвинам не заслужить вечного блаженства, после того как их крестили, если они сделаются полу-пингвинами, полу-людьми? Вот почему я умоляю Господа дать пингвинам старца Маэля человеческую голову и грудь, чтобы они могли достойным образом воздавать Вам хвалу. Я молю даровать им бессмертную душу, но, конечно, небольшую.

Так говорила Катерина, и отцы, доктора, исповедники, папы выразили ей громким шопотом свое одобрение.

Но святой отшельник Антоний поднялся и, простирая к Всевышнему свои красные мускулистые руки, воскликнул:

— Не делай этого, Господи Боже мой, именем святого Твоего Параклета умоляю не делать этого!

Он говорил с таким жаром, что его длинная белая борода тряслась, как пустой мешок у рта голодной лошади.

— Господь, не делай этого. Птицы с человеческой головой уже существуют,—кричал он.—Святая Катерина не выдумала ничего нового.

— Воображение объединяет и сопоставляет; оно ничего нового не создает,—сухо возразила святая Катерина.

— ...Это уже существует,—продолжал святой Антоний, не слушая возражений.—Таких полуптиц называют гарпиями, и это самые бессмысленные создания в мире. Однажды, в пустыне, у меня был к ужину аббат, святой Павел, и мы сели за трапезу у порога моей хижины, под старой смоковницей. Гарпии уселись на ветвях, оглушая нас пронзительными криками и гадя на все блюда. Надоедливые существа помешали мне слушать поучения аббата святого Павла, и нам пришлось есть птичий помет с хлебом и овощами. Как же можно допустить, что гарпии будут достойно хвалить Господа? Подвергаясь многочисленным искушениям, я видел самые дикие и разнообразные помеси различных пород. Я видел не только женщин-змей

и женщин-рыб, но и еще более странные сочетания, например, людей, тело которых сделано было из котла, из колокола, из стенных часов, из буфета, полного посуды и съестных припасов, или даже из дома с дверями и окнами, через которые видны были люди, занятые домашними работами. Не хватило бы вечности, если бы я стал описывать всех чудовищ, которые тревожили меня в моей пустыне, начиная от китов, оснащенных как корабли, и до целого дождя мелких красных насекомых, которые превращали в кровь воду моего колодца. Но ни одно из этих существ не было так отвратительно, как эти гарпии, которые жгли своим пометом листья моей прекрасной смоковницы.

— Гарпии,—заметил Ланктанций,—это женские чудовища с птичьим телом. Голова и грудь женские. Их надоедливость, их бесстыдство и их непристойность—свойства их женской природы, как доказал поэт Виргилий в своей Энеиде. Они разделяют проклятие Евы.

— Нечего говорить о проклятии Евы,—сказал Господь.—Вторая Ева искупила грехи первой.

Павел Орозий, автор всеобщей истории, которой подражал впоследствии Босюэт, поднялся с места и стал умолять Господа:

— Господи, услышь мою мольбу как и мольбу св. Антония. Не делай больше чудовищ вроде кентавров, сирен и фавнов, дорогих грекам, собирателям басен. От них Ты не получишь удовлетворения. Такого рода чудовища тяготеют к язычеству, и их двойственная природа не располагает к чистоте нравов.

Сладкоречивый Ланктанций возразил следующее:

— Тот, кто теперь говорил, бесспорно лучший историк из находящихся в раю, ибо Геродот, Фукидид, Полибий, Тит Ливий, Веллей Патеркул, Корнелий Непот, Светоний, Мамефон, Диодор Сицилийский, Дион Кассий, Лампрдий лишены дилеммы Господа и Тацит претерпевает и в аду муки за богохульство. Но Павел Орозий далеко не так хорошо знает небо, как землю. Он не подумал о том,

что ангелы, соединяющие в себе человека и птицу, воплощение чистоты.

— Мы отклонились в сторону,—сказал Господь.—При чем тут эти кентавры, гарпии и ангелы? Речь идет о пингвинах.

— Совершенно верно; речь идет о пингвинах.—заявил старейший из пятидесяти докторов, побежденных при жизни на земле александрийской декой.—И мне кажется, что для того, чтобы прекратить соблазн, смущающий небеса, следует, как предлагает святая Катерина, победившая нас, дать пингвинам старца Мазля половину человеческого тела с вечной душой, соответствующей величине этой половины.

После этих слов, начались шумные беседы и ученые споры между отдельными участниками совещания. Греческие отцы горячо спорили с латинскими о сущности, природе и размерах души, которую подобает дать пингвинам.

— Исповедники и папы,—воскликнул Господь,—не подражайте соборам и синодам на земле. Не вносите в торжествующую церковь страсти, раздражающие воинствующую церковь. Нельзя не сознаться, что на всех соборах, собранных по наитию Св. Духа в Европе, в Азии и Африке, отцы вырывали друг у друга бороды и глаза. Но все же эти соборы были непогрешимы, так как Я был с ними.

Когда восстановилась тишина, старец Герма поднялся и произнес следующую медленную речь.

— Я приношу хвалы Господу за то, что мать моя Сафира родилась в те дни, когда небесная роса увлажняла землю, создававшую своего Спасителя. Я возношу еще хвалы и за то, что мне дано было видеть собственными смертными глазами апостолов Сына Господня. Я согласен говорить в этом блестящем собрании, потому что по воле Господней истина изойдет из уст смиреннейшего. Я говорю поэтому: да превратятся эти пингвины в людей. Это единственное решение, достойное правосудия и милосердия Господня.

Несколько докторов попросили слова; другие стали говорить, не спрашивая. Никто не хотел слушать, и все исповедники взволнованно потрясали своими пальмовыми ветвями и своими венцами.

Но Господь успокоил споры своих праведников движением правой руки:

— Довольно совещаться. Предложение кроткого старца Гермь единственное, соответствующее моим вечным целям. Эти птицы будут превращены в людей. Нетрудно предвидеть все беды, связанные с их превращением. Многие из этих людей приобретут недостатки, которых не имели бы, если бы остались пингвинами. Конечно, судьба их после метаморфозы делается менее завидной, чем была бы без крещения и включения в семью Авраамову.

Но моему Всезнанию не подобает действовать на их свободную волю. Чтобы не посягать на человеческую волю, Я не знаю того, что знаю. Я сгущаю покровы на своих глазах, и в слепом предвидении Я удивляюсь тому, что заранее знал.

И тотчас призвав архангела Рафаила, Господь сказал ему:

— Найди св. мужа Мазля, предупреди его о его ошибке и скажи, чтобы Именем Моим он обратил пингвинов в людей.

Глава VIII.

Превращение пингвинов.

Спустившись на остров пингвинов, архангел застал святого мужа заснувшим в расщелине утеса среди своих новых учеников. Положив ему руку на плечо и разбудив его, он сказал тихим голосом:

— Не бойся, Мазль!

Святой муж, пораженный ярким блеском и ослепленный сладостным благоуханием, узнал ангела Господня и простерся перед ним.

И ангел сказал:

— Мазль, узнай свою ошибку: думая крестить детей Адама, ты окрестил птиц; и вот, благодаря тебе, пингвины вошли в церковь Господню.

Старец растерялся от слов ангела.

Ангел продолжал:

— Встань, Мазль, вооружись могущественным именем Господа и скажи птицам: будьте людьми!

Святой муж Мазль заплакал; потом, помолившись, он вооружился могущественным именем Господа и сказал птицам:

— Будьте людьми!

Пингвины тотчас же преобразовались. Их лоб расширился и голова округлилась, приняв куполообразный вид, подобно церкви Sancta Maria Rotonda в городе Риме. Их овальные глаза шире раскрылись на мир. Мясистый нос покрыл отверстия ноздрей. Клюв преобразовался в рот, и из этого рта стали выходить слова. Их шея укоротилась и утолстилась, крылья превратились в руки и лапы в ноги; тревожная душа поселилась в их груди.

И все-таки у них остались некоторые следы их первоначальной природы. Они скашивали глаза в сторону, покачивались при ходьбе на своих коротких ножках, и тело их было еще покрыто легким пушком.

И Мазль вознес благодарение Господу, за то, что он включил этих пингвинов в семью Авраамову.

Но ему стало грустно при мысли, что вскоре он покинет этот остров с тем, чтобы больше на него не возвращаться, и что вера пингвинов, быть может, угаснет без его попечений, как слишком молодое и нежное растение. И у него явилась мысль перенести их остров на берега Америки.

— Мне неизвестны предначертания вечной мудрости,— сказал он себе.—Но если Господу угодно, чтобы остров был перенесен туда, кто сможет этому воспрепятствовать?

И святой муж сплел из льна своей епитрахили тонкую веревку длиной в сорок футов. Он обвязал конец веревки вокруг верхушки утеса, который торчал из песка по-

бережья, и, держа в руке другой конец веревки, вступил в свою каменную колоду...

Колода скользила по морю и везла на буксире остров пингвинов. После девяти дней плавания она благополучно пристала к бретонским берегам, привезя за собой остров.



КНИГА ВТОРАЯ.

ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА.

Глава I.

Первые одежды.

В этот день святой Маэль сел на берегу океана на камень, который показался ему горячим. Он подумал, что это солнце его так нагрело, и возблагодарил Создателя, не зная, что на камне этом только что отдыхал Дьявол.

Апостол ждал ивернских монахов, которым поручил привести на остров ткани и звериные шкуры, чтобы одеть в них пингвинов.

Вскоре он увидел монаха, причалившего к берегу с сундуком на спине. Этот монах, по имени Магис, славился своей святостью.

Он подошел к старику, поставил сундук на землю и сказал, утирая лоб рукавом:

— Так значит, отец, вы, действительно, хотите одеть пингвинов?

— Это необходимо, сын мой,—ответил старик.—С тех пор, как их включили в семью Авраамову, пингвины разделяют проклятие Евы и знают, что они голые, чего они раньше не знали. Нужно поторопиться, так как они уже теряют пушок, который оставался на них после превращения.

— Да,—сказал Магис, оглядывая берег, на котором пингвины ловили креветок, собирали ракушки, пели или

спали;—они, действительно, голые. Но не думаете ли вы, что лучше бы так и оставить их голыми? Зачем им одеваться? Когда они начнут носить одежды и подчиняться законам нравственности, у них явится чрезмерная гордость, низкое лицемерие и совершенно ненужная жестокость.

— Неужели же, сын мой,—сказал со вздохом старик,—ты считаешь столь пагубным закон нравственности, которому подчиняются даже язычники?

— Нравственный закон,—возразил Магис,—заставляет людей, которые в сущности звери, жить не так, как живут звери. Это им, конечно, тяжело, но вместе с тем лестно, и обеспечивает безопасность существования. А так как они горды, трусливы и жадны, то охотно подчиняются стеснениям, льстящим их тщеславию и составляющим основу их сохранности в настоящем и надежды на блаженство в будущем. Такова основа всякой морали. Но не будем уклоняться. Мои спутники выгружают на этот остров свой груз тканей и звериных шкур. Подумайте, отец, пока есть время. Решение одеть пингвинов может иметь огромные последствия. Теперь, когда пингвин возгорается страстью к пингвинке, он точно знает, чего желает, и его желания ограничены точным знанием предмета своих вожделений. Вот в эту минуту на морском берегу две, три, четыре пингвинов предаются радостям любви на солнце. Посмотрите, какая простота. Никто на это не обращает внимания, и даже сами участвующие не очень увлечены своим занятием. Но когда пингвинки будут ходить в одеждах, то пингвин не будет в точности знать, что именно влечет его к ним. Желания пингвина сделаются неопределенными и породят всяческие мечты и иллюзии. Словом, отец, пингвины познают любовь и ее безумные муки. А пингвинки тем временем, опустив глаза и поджав губы, примут такой вид, точно под их одеждами скрывается сокровище!.. Какая жалость! Беда будет еще велика, пока этот народ будет груб и беден. Но подождите какую-нибудь тысячу лет, и вы увидите, каким могущественным орудием будут владеть дочери страны пингвинов, благодаря вам. Если позволите, я дам вам

заранее об этом некоторое представление. У меня есть тут в сундуке кой-какие тряпки. Выберемте наудачу какую-нибудь из пингвинок, на которых пингвины обращают так мало внимания, и оденем ее как можно лучше. Вот как раз проходит мимо нас одна из них. Она ни лучше ни хуже всех других. Она молода. Никто на нее не смотрит. Она лениво бредет по берегу, засунув палец в нос и почесывая спину до щиколоток. Вы видите сами, надеюсь, что у нее узкие плечи, тяжелые груди, толстый желтый живот и короткие ноги. Колени ее красные и морщатся при каждом ее шаге, точно на каждом суставе торчит маленькая обезьянья голловка. Ноги у нее большие и жилистые; они цепляются за камни четырьмя крючковатыми пальцами, а большие пальцы торчат вверх, как головки двух осторожных змей. Она вся отдается ходьбе; все ее мускулы заняты этой работой, и когда мы видим их в действии, то кажется, точно назначение ее ходить, а не предаваться любви, хотя очевидно, что и то и другое одинаково ей свойственно, и что, кроме того, она приспособлена и для многого другого. Посмотрим же, почтеннейший апостол, что я из нее сделаю.

С этими словами монах Магис подбегает тремя прыжками к пингвинке, схватывает ее поперек тела, так что волосы ее волочатся по земле, и бросает ее к ногам святого мужа Маэля.

В то время, как она плачет от испуга и умоляет не причинять ей зла, он вынимает из своего сундука пару сандалий и приказывает ей надеть их на ноги.

— Когда ноги ее будут затянуты шерстяными шнурами,—говорит он старику,—они будут казаться не такими большими. Подошвы, поднятые на два пальца, изящно удлинит ее ноги и придадут некоторую величественность ее походке.

Шнуруя свою обувь, пингвинка с любопытством поглядывала на сундук и, видя, что в нем множество нарядов и драгоценностей, улыбнулась сквозь слезы.

Монах завязал ей волосы узлом на затылке и укрепил на волосах шляпу с цветами. Затем он надел ей

на руки золотые запястья и, приказав ей встать, наложил на живот под грудью широкий полотняный пояс, утверждая, что это придаст красивую форму линиям груди и бедрам.

С помощью булавок, которые он вынимал одну за другой изо рта, он укреплял пояс вокруг стана пингвинки.

— Можно стянуть еще больше,—сказала пингвинка.

Когда он тщательно обтянул бюст, придав упругость стану, он надел на пингвинку розовую тунику, которая мягко обрисовывала линии фигуры.

— Хорошо ли падают складки?—спросила пингвинка.

Изогнув талию, повернув на бок голову и опершись подбородком на плечо, она внимательно оглядывала фасон своего платья.

Магис спросил ее, не кажется ли ей, что платье ее слишком длинно, но она уверенным тоном ответила, что нет и что она его подберет.

Тотчас же, отдернув юбку левой рукой назад, она искоса прижала ее повыше щиколотки, едва-едва показывая только каблуки. Потом она удалилась мелкими шажками, покачивая бедрами.

Она ни разу не обернулась, но, проходя мимо ручья, погляделась в него искоса.

Первый пингвин, который случайно ее встретил, остановился в изумлении и, повернув назад, пошел за нею. Она шла по берегу, и все пингвины, возвращавшиеся с рыбной ловли, подходили к ней и, поглядев на нее, шли вслед за нею. Те, которые лежали на песке, поднимались и присоединялись к другим.

Она шла, и за нею следила толпа пингвинов. Они спускались с горных тропинок, выходили из расщелин утесов, выплывали из глубины вод. И все, взрослые люди с могучими плечами и волосатой грудью, гибкие юноши, старики с трясущимся сморщенным телом, поросшим белым шелковистым пухом, или волочившие худые, иссохшие ноги, неотступно шли за нею, торопясь, задыхаясь, издавая острый запах и хриплое дыхание. Она же шла спокойно, казалось ничего не видя.

— Посмотрите, отец,—воскликнул Магис,—как они все погнались за нею, устремив взоры на сферический центр этой девицы—только потому, что центр этот скрыт от глаз розовой тканью. Сферические тела приковывают внимание геометров множеством своих свойств; когда сфероидальность проявляется в живом теле, то она приобретает тем самым еще новые качества. Но для того, чтобы интерес к данной фигуре достиг у пингвинов наивысшей точки напряжения, нужно было, чтобы они перестали видеть ее воочию, а стали бы представлять ее себе в воображении. Я сам тоже чувствую теперь непреодолимое влечение к этой пингвинке. Может быть, это объясняется тем, что юбка придала ей больше выпуклости сзади. Усовершенствованная и упрощенная сфероидальность приобрела синтетический характер, сделалась выражением отвлеченной идеи, выражением божественного принципа кругообразности; как бы то ни было, но мне кажется, что, обняв эту пингвинку, я буду держать в своих объятиях все небо земных блаженств. Нет сомнения, что стыдливость придает женщинам непобедимое очарование. Я так взволнован ее видом, что напрасно было бы скрывать это.

С этими словами он безобразно подобрал платье и бросился бежать вслед за пингвинами. Он растолкал толпу, повалил многих на землю и стал топтать их; потом он нагнал пингвинку. Он схватил ее за розоватую сфероидальность, которая приковывала к себе жадные взгляды целого племени пингвинов, и тотчас же скрылся с нею в морском гроте.

Пингвинам показалось, что внезапно потухло солнце, а святой муж Маэль понял, что в образе монаха являлся дьявол, и что это он принес в дар пингвинке первые одежды. Маэль очень смутился, и душа его опечалилась. Медленно возвращаясь в свое одинокое жилище, он увидел маленьких пингвинок шести-семи лет с плоской и узкой грудью и узкими бедрами. Они сплели себе пояса из водорослей и ходили по берегу, оглядываясь, не идут ли следом за ними мужчины.

Глава II.

Первые одежды.

(Продолжение и конец).

Святой муж Маэль был глубоко опечален тем, что первые покровы, в которые облечена была одна из пингвинок, послужили во вред, а не на пользу стыдливости пингвинов. Но он все-таки не отказался от намерения дать одежды жителям чудесного острова. Созвав их на берег, он роздал им платье, которое привезли ивернские монахи. Пингвины получили короткие туники и шаровары, пингвинкам даны были длинные платья. Но платья эти отнюдь не произвели такого впечатления на пингвинов, как первая женская одежда. Платья, привезенные монахами, были некрасивы, спшиты без всякого вкуса, и на них никто не обращал внимания, потому что все женщины носили их. А так как пингвинки сами готовили пищу и работали в поле, то вскоре корсажи их загрязнились и юбки поизносились. Пингвины взваливали непосильный труд на своих несчастных подруг, походивших на рабочий скот. Они не знали сердечных мук и беспорядочных страстей. Их нравы были невинны. Кровосмешение, очень распространенное среди них, отличалось чисто деревенской простотой, и если какой-нибудь малый в пьяном виде насиловал свою бабушку, то на следующий же день забывал об этом.

Глава III.

Раздел полей и происхождение собственности.

Остров уже не имел прежнего сурового вида тех времен, когда он окружен был пловучими льдинами и когда в скалах его гнездились племя птиц. Гора с снежной вершиной опустилась. От нее сохранился только холм, с которого открывался вид на берега Арморики, покрытые вечным туманом, и на океан, усеянный темными под-

водными скалами, подобными чудовищам, наполовину поднявшимся из бездны.

Берега острова теперь раскинулись широко и были глубоко изрезаны, напоминая по форме фиговый лист. Весь остров внезапно покрылся соленовой травой, приятной для стад, ивами, древними смоковницами и величественными дубами. Это подтверждается Бэдой до-стопочтенным и несколькими другими авторами, заслуживающими доверия.

На севере острова образовалась глубокая бухта, которая сделалась впоследствии одним из знаменитейших портов в мире. На востоке вдоль скалистого берега, о который билось пенное море, простиралась пустынная и благоуханная степь. Это был берег Теней, куда обитатели острова никогда не проникали, боясь змей, гнездившихся в скалах, а также из боязни встретить души умерших, подобные бледным огням. На юге плодовые сады и рощи окаймляли теплую бухту Нырков. На этом благословенном берегу старец Маэль построил церковь и деревянный монастырь. На западе две реки, Кланж и Сюрель, орошали плодородные долины Даль и Домб.

В одно осеннее утро блаженный Маэль, гуляя по долине Кланжа вместе с одним ивернским монахом, которого звали Булок, встретил отряды людей свирепого вида; в руках у них были камни. В то же время раздались со всех сторон крики и плач, возносившийся из долины к спокойному небу.

И он сказал Булоку:

— Я с грустью замечая, сын мой, что обитатели этого острова утратили свое прежнее благоразумие с тех пор, как сделались людьми. Когда они были птицами, они ссорились только в пору любви. Теперь же они постоянно ведут распри, дерутся летом и зимой. Куда девалось их величавое спокойствие, которое уподобляло собрание пингвинов сенату мудрой республики! Взгляни, сын мой, в сторону Сюреля. В этой свежей долине собралось теперь около двенадцати пингвинов; они дерутся, пуская в ход лопаты и заступы, вместо того, чтобы обрабатывать землю этими земледельческими орудиями. Смотри, женщины, еще более жестокие, чем муж-

чины, раздирают ногтями лица врагов. Почему это, сын мой Булок, они избивают друг друга?

— Они повинуются инстинкту общности, а также хотят обеспечить себя в будущем, — ответил Булок. — Человек по природе своей предусмотрителен и склонен к общности. Таков его характер. Он не может мыслить самого себя вне обладания некоторой собственностью. Эти пингвины, которых вы видите пред собой, приобретают земли.

— Разве они не могли бы приобретать их без насилия? — спросил старик. — Побивая друг друга, они обмениваются ругательствами и угрозами. Я не различаю их слов. Но, судя по тону, они сильно раздражены.

— Они обвиняют друг друга в воровстве и захвате, — ответил Булок. — Таков общий смысл их речей.

В эту минуту святой муж Маэль, всплеснув руками, испустил глубокий вздох.

— Посмотрите, сын мой, — сказал он, — вот этот безумец откусил нос своему сраженному врагу, а вот тот раздавил голову женщины огромным камнем.

— Я вижу, — ответил Булок. — Они создают право. Они основывают собственность, принципы культуры, устои общества и основы государственной жизни.

— Каким это образом? — спросил старец Маэль.

— Они устанавливают границы своих полей. Это начало всякой политики. Ваши пингвины, учитель, выполняют священнейшую государственную обязанность. Их труд будет освящен законоводами грядущих веков и будет пользоваться охраной государственных властей.

В то время, как монах Булок произносил эти слова, большой пингвин с белым цветом кожи и рыжими волосами спускался в долину, взвалив себе на плечо огромную дубину. Подойдя к маленькому загорелому пингвину, поливавшему овощи, он крикнул ему:

— Твое поле принадлежит мне!

Произнося эти властные слова, он опустил свою палицу на голову маленького пингвина, и тот упал мертвым на землю, возделанную его руками.

Увидав это, святой Маэль задрожал и горько запла-

кал. И голосом, заглушенным ужасом и страхом, он вознес к небу следующую молитву:

— Господи, Ты, который принял жертвоприношение юного Авеля, Ты, который проклял Каина, отмсти, Господи, за этого невинного пингвина, убитого на его же поле, и покарай убийцу. Можно ли вообразить более гнусное преступление, большее оскорбление твоего правосудия, Господи, чем это убийство и этот грабег.

— Берегись, отец, — кротко сказал Булок. — То, что вы называете убийством и грабежом, на самом деле война и победа, священные основы царств и источники всех доблестей и всякого величия человеческого. Подумайте и о том, что, осуждая большого пингвина, вы нападаете на происхождение и на самый принцип собственности. Она рождается и сохраняется силой. В этом батывать землю это одно, а владеть землей другое. Нельзя смешивать одно с другим. В вопросе о собственности право того, кто первый занял место, очень слабо обосновано. Право завоевателя, напротив того, вполне ясно и прочно. Только оно и заслуживает уважения, потому что только оно умеет заставить уважать себя. Сила — единственное и слабое происхождение собственности. Она рождается и сохраняется силой. В этом смысле она снисходительна и уступает только большей силе. Вот почему можно справедливо утверждать, что всякий собственник благороден. Тот большой рыжий человек, убив землепашца, чтобы отобрать у него его поле, основал тем самым знатный род на земле. Я пойду и поздравлю его.

С этими словами Булок подошел к большому пингвину, который стоял у края окровавленной борозды, опершись на свою палицу.

Поклонившись до земли, Булок сказал:

— Великий Гретох, я пришел поклониться вам, как основателю законной власти и наследственного богатства. Зарытый в вашем поле череп жалкого пингвина, сраженного вами, утвердит навсегда священные права вашего потомства на эти земли, облагороженные вами. Как счастливы будут ваши сыновья и сыновья ваших

сыновей! Они будут Гретоки, герцоги Скель, и будут владычествовать на острове Альке.

Потом он обернулся к святому старцу Маэлю и возвысил голос:

— Отец,—сказал он,—благословите Гретока, ибо всякая власть исходит от Бога.

Маэль стоял безмолвно, подняв глаза к небу: он горестно недоумевал, не зная, как отнестись к рассуждениям монаха Булока. А между тем, именно высказанные им мысли и утвердились в эпохи высокой культуры. Булока можно считать основателем гражданского права в Пингвинии.

Глава IV.

Первая перепись в Пингвинии.

— Сын мой Булок,—сказал старик Маэль,—нужно сделать перепись пингвинов и внести в книги имена каждого из них.

— Сделаем это как можно скорее,—ответил Булок.—Без этого не может быть хорошей полиции.

Апостол тотчас же приступил при содействии двенадцати монахов к переписи народонаселения.

Затем старик Маэль сказал:

— Теперь, когда у нас имеются списки всех жителей, нужно, сын мой Булок, собрать с них налог, чтобы покрыть расходы по общественным нуждам, а также по содержанию аббатства. Каждый пусть даст, сколько может по своим средствам. Созовите же, сын мой, старейшин Альки, и мы установим вместе с ними размеры налога.

Старейшины собрались в количестве тридцати во дворе деревянного монастыря под большою смоковницей. Это было первое учредительное собрание Пингвинии. Оно состояло на три четверти из наиболее богатых крестьян долин Сюреля и Кланжа. Гретоки, как самый знатный среди пингвинов, сел на самый высокий камень.

Почтенный Маэль занял место среди своих монахов и произнес следующую речь:

— Дети мои, Господь, по своему усмотрению, дает людям богатства и отнимает их. Я созвал вас, чтобы с общего согласия наложить на народ подати и добыть этим путем средства на общественные нужды и для содержания монахов. Я полагаю, что подати должны соответствовать достаткам каждого в отдельности. У кого сто быков, даст десять, у кого десять быков, тот даст одного.

Когда святой муж кончил свою речь, поднялся Морио, земледелец из Аниса на Кланже, один из самых богатых пингвинов, и сказал:

— О, Маэль, отец мой, я считаю справедливым, чтобы каждый участвовал в государственных расходах и в удовлетворении нужд церкви. Что касается меня, то я готов отдать все, что имею, в пользу братьев моих пингвинов. Если нужно, я сниму с себя последнюю рубашку. И другие старейшины согласны, как и я, пожертвовать всем, что у них есть. Нельзя усомниться в их преданности родине и религии. Нужно, значит, считаться только с требованиями общественного блага. Но во имя общественного блага нужно щадить тех, которые много имеют. В противном случае богатые сделаются менее богатыми, а бедные сделаются еще беднее. Бедных питает богатство имущих, и поэтому богатство священо... Не касайтесь его: это было бы ненужной жестокостью. Тем, что вы будете разорять богатых, вы себя не обогатите, потому что богатых немного. Отнимая достаток у имущих, вы лишили бы себя всяких средств, погрузив страну в нищету. А между тем, требуя небольшой помощи у каждого жителя, безотносительно к его средствам, вы соберете достаточную сумму для удовлетворения общественных нужд, и вам не придется справляться об имущественном состоянии граждан, которые сочли бы такое вмешательство в их личные дела крайне нежелательным. Если же вы обложите всех в одинаковой мере и сравнительно легко, вы тем самым соблюдете интересы бедных, так как оставите им достояние богатых. Да и возможно ли соразмерить налоги со степенью богатства? Вчера у меня было двести быков, сегодня их у меня шестьдесят, завтра будет сто. У Ключника три коровы, но они тощие, у Никлю

две, но жирные. Кто же из них двоих богаче? Признаки богатства обманчивы. Несомненно одно—что все едят и пьют. Обложите людей по количеству того, что они потребляют. Это будет благоразумно и справедливо.

Так говорил Морио, и старейшины выразили свое одобрение рукоплесканиями.

— Я предлагаю эту речь запечатлеть резцом на медных таблицах,—воскликнул монах Булок.—Она сказана для потомства. Через полторы тысячи лет лучшие из пингвинов будут именно так говорить.

Старейшины еще продолжали аплодировать, когда Греток, положив руку на рукоять меча, сделал следующее краткое заявление:

— Я принадлежу к благородному роду и не буду платить налогов. Платить налоги не благородно. Пусть платит чернь.

На этом старейшины молча разошлись.

Так же как в Риме, перепись делалась в Пингвинии раз в пять лет, и этим путем было установлено, что рост народонаселения быстро увеличивается. Хотя дети умирали там в чрезвычайно большом количестве, а голод и чума с неизменной аккуратностью опустошали целые деревни, все же новые поколения пингвинов обеспечивали своей честною бедностью общественное благосостояние.

Глава V.

Брак Кракена и Орберозы.

В то время на острове Альке жил пингвин могучего сложения и тонкого ума. Его звали Кракеном, и он жил на берегу Теней, куда жители острова не проникали, боясь змей, гнездившихся в утесах, а также опасаясь встреч с душами умерших без крещения пингвинов, которые, в образе бледных огней, бродили по ночам с жалобным стоном вдоль пустынного берега. Предполагали, хотя и без достаточных оснований, что среди пингвинов, превращенных в людей по молитве блаженного Мазля, многие не были крещены и возвращались на землю после смерти плакать в завываниях бури. Кракен жил на пу-

стынном берегу в неприступной пещере. Туда можно было проникнуть только через естественное подземелье в сто футов длины, и густой лес скрывал вход в это подземелье. Однажды вечером, когда Кракен шел по пустынному полю, он случайно встретил милостивую молодую пингвинку. Это была та, которую некогда собственноручно одел монах Магис и которая первая стала носить целомудренные одежды. В память того дня, когда восхищенная толпа пингвинов шла за нею следом, а она убежала от всех в своем платье цвета утренней зари, дева эта получила имя Орберозы *).

При виде Кракена она испуганно крикнула и бросилась бежать. Но герой схватил ее за развевающиеся одежды и обратился к ней со следующими словами:

— Назови мне, дева, свое имя, свою семью, свою родину.

Орбероза продолжала с ужасом глядеть на Кракена.

— Вас ли я вижу,—спросила она, дрожа,—или это только ваша разгневанная душа?

Она так говорила, потому что жители Альки, не имея никаких известий о Кракене с тех пор, как он поселился на берегу Теней, думали, что он умер и сделался ночным демоном.

— Перестань страшиться, дочь Альки,—ответил Кракен.—Тот, кто говорит с тобой, не блуждающий дух, а живой человек, сильный и властный. Я вскоре буду владеть большими богатствами.

И юная Орбероза спросила его:

— Каким образом сможешь ты добыть большие богатства, Кракен, будучи сыном пингвинов?

— Я добуду их, благодаря своему уму,—ответил Кракен.

— Я знаю,—сказала Орбероза,—что в то время, когда ты жил среди нас, ты славился своей ловкостью на охоте и в рыбной ловле. Никто не мог сравниться с тобой по искусству закидывать сети или пронзать стрелой быстрых птиц.

— Это все было ничтожно и требовало много труда,

*) Orbe—поэтическое обозначение шарообразных тел в применении к небесным светилам. В переносном смысле применяется ко всему шарообразному (Литро).

девушка. Я нашел средство обогащаться, ничего не делая. Но скажи мне, кто ты.

— Меня зовут Орберозой,—ответила молодая девушка.

— Как же ты очутилась так далеко от своего жилья ночью?

— Кракен, это произошло не без участия небес.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Что небо, о, Кракен, направило меня наавстречу тебе—я сама не знаю с какой целью.

Кракен долго глядел на нее и мрачно молчал. Наконец, он мягко сказал ей:

— Орбероза, войди в мой дом. Это жилище самого умного и самого храброго из пингвинов. Если ты согласна следовать за мной, ты сделаешься моей подружкой.

Тогда, опустив глаза, она прошептала:

— Я следую за вами, мой господин.

Таким образом, прекрасная Орбероза сделалась подружкой героя Кракена. Этот брак не был отпразднован пением и факелами, потому что Кракен не желал показываться племени пингвинов. Скрываясь в своей пещере, он замыслил великие дела.

Глава VI.

Дракон Альки.

Мы пошли после того осматривать естественно-научный кабинет... Заведующий показал нам завернутый в солому пакет и сказал, что там хранится скелет дракона; и вот доказательство, прибавил он, что дракон не мифологическое существо.
(„Memoires de Jacques Casanova“, Paris 1843, 7, IV, стр. 404, 405.)

Тем временем жители Альки предавались мирным занятиям. Жители северного берега выезжали в море на лодках ловить рыбу и собирать раковины. Земледельцы долины Домб сеяли овес, рожь и ячмень. Богатые пингвины долины Даль разводили домашний скот, а у жителей бухты Нырков были прекрасные плодовые сады. Купцы из Порта-Альки вели торговлю соленой рыбой с Арморикой. Золото Британии и Бретани, которое начи-

нало проникать на остров, облегчало обмен разными предметами производства. Племя пингвинов пользовалось в глубоком спокойствии плодами своего трудолюбия, как вдруг по деревням разнеслась грозная весть. Всюду сразу узнали, что страшный дракон опустошил две фермы в бухте Нырков.

За несколько дней до того исчезла дева Орбероза. Ее отсутствие вначале не вызвало тревоги, потому что ее уже несколько раз похищали сильные люди, одержимые любовью. Мудрецы этому не удивлялись в виду того, что дева эта была прекраснейшей из пингвинок. Замечали даже, что иногда она шла навстречу своим похитителям, ибо никто не может избежать своей участи. Но на этот раз она долго не возвращалась, и стали опасаться, что ее пожрал дракон.

Жители долины Даль вскоре убедились, что дракон этот вовсе не выдумка кумушек, болтающих у колодца. Однажды ночью чудовище пожрало в деревне Анисе шесть кур, ягненка и мальчика-сиротку, которого звали маленьким Эло. На следующее утро никак не могли доискаться ни мальчика, ни барана, ни кур.

Старейшины деревни сейчас же собрались на площади и уселись на каменную скамью, чтобы решить, как поступить в виду столь страшных событий.

Созвав всех пингвинов, которые видели дракона в зловещую ночь, они стали допрашивать их:

— Не заметили ли вы, каков он с виду?

И каждый ответил по очереди:

— У него львиные когти, орлиные крылья и хвост, как у змеи.

— У него на спине щетинистый гребень.

— Все тело его покрыто желтой чешуей.

— Взгляд его притягивает и сражает, как молния. Он изрыгает пламя.

— Он отравляет воздух своим дыханием.

— У него голова дракона, львиные когти и хвост, как у змеи.

Одна женщина, которая слыла очень здравомыслящей и рассудительной и у которой дракон похитил трех кур, дала следующее показание:

— Он с виду обыкновенный мужчина. Я даже думала, что это мой муж, и сказала ему: пойдём спать, старый дуралей.

Другие говорили:

— Он как облако.

— Он точно гора.

А один ребенок пришел и сказал:

— Я видел, как дракон снял свою голову у нас на гумне и поцеловал мою сестру Минни.

Старейшины продолжали расспрашивать деревенских жителей:

— Какой он величины?

Им ответили:

— Он величиной с быка.

— Он такой величины, как большие коммерческие судна бретонцев.

— Он обыкновенного человеческого роста.

— Он выше смоковницы, под которой вы сидите.

— Он величиной с собаку.

Наконец, когда стали спрашивать о цвете дракона, жители деревни сказали:

— Красного.

— Зеленого.

— Синего.

— Желтого.

— У него ярко-зеленая голова; крылья резко оранжевого цвета с розоватым оттенком; края серебристо-серые; круп и хвост в коричневых и розовых полосах, живот ярко-желтый с черными пятнышками.

— Какого он цвета? Он совсем бесцветный.

— Он драконового цвета.

Собрав показания, старейшины все-таки не смогли прийти ни к какому решению. Одни предлагали подкараулить дракона, захватить его врасплох и пронзить его множеством стрел. Другие полагали, что тщетно было бы противиться силой такому могущественному чудовищу и советовали умиротворить его дарами.

— Будемте платить ему дань,—сказал один пингвин, слышавший мудрым.—Мы сможем снискать его располо-

жение, угождая ему обильными дарами. Дадим ему вино, ягнят, молодую деву.

Другие же предлагали отравить колодцы, из которых он пьет, или же задушить его дымом в его пещере.

Но ни одно из этих предложений не было принято. Споры продолжались еще довольно долго, а потом старейшины разошлись, не остановившись ни на каком решении.

Глава VII.

Дракон Альки.

(Продолжение).

В течение всего месяца, посвященного римлянами их богу Марсу или Маворсу, дракон опустошал фермы, унес пятьдесят баранов, двенадцать поросят и трех мальчиков. Все семьи были в горе, и весь остров огласился рыданиями. Не зная, как отвратить бедствие, старейшины несчастных деревень, орошаемых реками Кланжем и Сюрелем, решили собраться и пойти все вместе к блаженному Маэлю, чтобы спросить у него совета.

На пятый день месяца, название которого обозначает у римлян открытие, потому что он открывает собою год, они отправились процессией в деревянный монастырь, который возвышался на южном берегу острова. Когда их ввели во двор, они огласили воздух рыданиями и стонами. Тронутый их плачем, старец Маэль покинул комнату, где занимался изучением астрономии и размышлением над Священным Писанием, и спустился к ним, опираясь на свой пастырский посох. При появлении его старейшины опустили на пол и протянули к нему зеленые ветви. Некоторые жгли в это время ароматические травы.

И святой муж, сев у монастырского колодца, под древней смоковницей, произнес следующие слова:

— Дети мои, потомство пингвинов, что означает ваш плач и ваши стоны? Почему вы протягиваете ко мне зеленые ветви в знак мольбы? Почему возносите к небу дым

ваших курений? Для того ли, чтобы я отвратил от вас какое-нибудь бедствие? О чем вы молитесь меня? Я готов отдать жизнь за вас. Только скажите, чего вы ждете от вашего отца?

На эти вопросы первый из старейшин ответил следующее:

— Отец детей Альки, о, Маэль,—сказал он,—я буду говорить от имени всех нас. Страшный дракон опустошает наши поля и наши хлевы. Он похищает, унося к себе в пещеру, цвет нашего юношества. Он пожрал маленького Эло и еще семерых мальчиков. Он растерзал своими голодными зубами деву Орберозу, прекраснейшую из пингвинок. Нет ни одной деревни, где бы не пронеслось его ядовитое дыхание, опустошая все вокруг. Удрученные столь страшным бедствием, мы явились к тебе, Маэль, и молим тебя, как самого мудрого из всех, спасти жителей этого острова для того, чтобы не погибло древнее племя пингвинов.

— О, первый из старейшин Альки,—возразил Маэль,—слова твои погружают меня в глубокую скорбь, и я плачу при мысли, что этот остров сделался жертвой страшного дракона. Случай этот не единственный, и в старых книгах можно прочесть несколько рассказов о чрезвычайно жестоких драконах. Чудовища эти водятся, главным образом, в пещерах на берегу вод и преимущественно у языческих народов. Возможно, что некоторые из вас, хотя и получили святое крещение и тем самым вошли в семью Авраамову, все же поклонялись идолам, как древние римляне, или вешали изображения, обетные таблицы, шерстяные повязки или венки цветов на ветви какого-нибудь священного дерева. Или же, быть может, пингвинки танцевали вокруг какого-нибудь волшебного камня и пили воду из колодца, где живут нимфы. Если это так, то я полагаю, дети мои, что Господь послал дракона, как кару за преступления некоторых из вас и с тем, чтобы вы, о, сыны пингвинов, искоренили в стране вашей суеверие, безбожие и богохульство. Советую вам поискать в своих жилищах следы идолопоклонства и уничтожить их. Это будет наилучшим средством против бедствия, постигшего вас. И, кроме того, я считаю также, что было бы полезно молиться и каяться.

Так ответил пришедшим к нему святой старец Маэль. И старейшины племени пингвинов, облобызав его ноги, разошлись по своим деревням с надеждой в сердцах.

Глава VIII.

Дракон Альки.

(Продолжение).

Следуя советам святого мужа Маэля, жители Альки стали истреблять суеверия, возникшие среди них. Они следили за тем, чтобы девушки не ходили больше танцевать вокруг волшебного дерева, произнося заклинания. Они строго запретили молодым матерям тереть грудных младенцев о камни, торчащие на поле, для укрепления здоровья детей. Одного старика, который предсказывал будущее, подбрасывая ячменные зерна на сите, бросили в колодезь.

А чудовище продолжало тем временем опустошать каждую ночь птичьи дворы и хлевы. Крестьяне стали от ужаса запирались в домах. Одна беременная женщина увидела при лунном свете, через слуховое окно, тень дракона на дороге, облитой синим светом; она пришла в такой ужас, что преждевременно родила.

В эти дни испытаний святой муж Маэль непрерывно размышлял о природе драконов и о средствах борьбы с ними. После шести месяцев исканий и молитв ему показалось, что он нашел то, чего искал. Однажды вечером, гуляя по морскому берегу вместе с молодым монахом, по имени Самуил, он выразил свою мысль следующими словами:

— Я долго изучал историю и нравы драконов не для удовлетворения суетного любопытства, а для того, чтобы найти примеры, которым можно было бы следовать при теперешних обстоятельствах. В этом и заключается, сын мой Самуил, польза истории. Известно, что драконы отличаются чрезвычайной бдительностью. Они никогда не спят. Вот почему им часто вверяется охрана сокровищ. В Колхиде золотое руно, завоеванное Язоном, охранялось драконом.

Точно так же дракон сторожил золотые яблоки в саду Гесперид. Он был убит Геркулесом и превращен Юноной в звезду. Об этом говорится в старых книгах, и если действительно так было, то это произошло волшебным путем, ибо языческие боги на самом деле дьяволы. Дракон запрещал невежественным и грубым людям пить воду из Кастальского источника. Вспомним также дракона Андромеды, который был убит Персеем. Но оставим басни язычников, где постоянно к истине примешивается заблуждение. Драконы встречаются и в историях славного архангела Михаила, святого Георгия, Филиппа, Якова Старшего, Патриция, святых Марты и Маргариты. В этих рассказах, заслуживающих полного доверия, и нужно, главным образом, искать утешения и советов. В истории силенского дракона мы находим особенно ценные примеры. Нужно вам знать, сын мой, что на берегу большого пруда, по соседству с этим городом, жил страшный дракон, который иногда приближался к городским стенам и отравлял своим дыханием всех, кто жил в предместьях. И для того, чтобы дракон не пожрал всех, жители Силен выдвигали ему каждое утро по одному человеку. Жертва назначалась по жребию. И вот, после сотни других, жребий пал на дочь короля. Святой Георгий, который был военным трибуном, узнал, проезжая через город Силен, что дочь короля отвели как раз в это время к дикому чудовищу. Он тотчас снова сел на коня, вооружился копьем и помчался навстречу дракону. Он приехал как раз, когда дракон собирался пожрать царственную деву. И когда святой Георгий сразил дракона, дочь короля повязала своим кушаком шею чудовища, которое пошло следом за нею, как собачка. На этом примере видна власть чистых дев над драконами. История святой Марты является нам еще более убедительным доказательством. Знаете вы эту историю, сын мой Самуил?

— Да, отец мой,—ответил Самуил.

И блаженный Маэль продолжал:

— В лесу, на берегах Роны, между Арлем и Авиньоном, появился некогда дракон—полу-четвероногое и полурыба, толще быка, с острыми как рога зубами и с большими крыльями по плечам. Он опрокидывал суда и пожирал пассажиров. И вот святая Марта, по просьбе на-

рода, отправилась к этому дракону. Он в это время поедл человека. Она повязала ему свой кушак вокруг шеи и спокойно привела его в город. Эти два примера навели меня на мысль, что следует обратиться за помощью к какой-нибудь чистой деве для избавления страны от дракона, сеющего ужас и смерть в деревнях. Поэтому, сын мой Самуил, опояшъ свои чресла и пойди, взяв с собой еще двух спутников, по всем деревням этого острова. Возвести всюду, что только чистая дева сможет спасти остров от чудовища, которое его опустошает. Пой всюду гимны и псалмы и говори: «О, сыны пингвинов, если есть среди вас чистейшая дева, пусть она поднимется и, вооружившись знаменем креста, пойдет сразиться с драконом».

Так говорил старец, и юный Самуил обещал последовать его совету. На следующий же день он опоясал свои чресла и отправился вместе с двумя спутниками оповестить жителей Альки, что только чистая дева сможет освободить пингвинов от неистовств дракона.

Глава IX.

Дракон Альки.

(Продолжение).

Орбероза любила своего супруга, но любила не только его одного. В час, когда Венера загорается на бледном небе, в то время, как Кракен отправлялся сеять ужас по деревням, она навещала, в его передвижном домике на колесах, юного пастуха из долины Даль, по имени Марсель, который соединял нежность тела с неутомимой силой.

Прекрасная Орбероза разделяла с упоением ароматное ложе пастуха. Но, скрывая от него свое действительное имя, она называла себя Бригитой и говорила, что она дочь садовника из бухты Ныркв. С грустью вырываясь из его объятий, она шла потом по дымящимся лугам, по направлению к берегу Теней, и если случайно ей встречался на пути какой-нибудь запоздавший крестьянин, она тотчас же развела свои прозрачные одежды на подобие больших крыльев и восклицала:

— Прохожий, опусти глаза, чтобы не пришлось тебе потом сказать: горе мне, ибо я видел ангела Господня!

Крестьянин, дрожа, опускался на колени, касаясь лбом земли. И на острове поговаривали о том, что ночью ходят ангелы по дорогам, и что, взглянув на них, человек умирает.

Кракен не знал о любовных свиданиях Орберозы и Марсея, ибо он был герой, а герои никогда не проникают в тайны своих жен. Но, не зная про эту любовь, Кракен извлекал из нее много выгод. Каждую ночь он заставлял свою подругу все более улыбающейся и более прекрасной. Она дышала сладострастием, и супружеское ложе благоухало вербеной и диким укропом. Орбероза любила Кракена не назойливой любовью, потому что она не сосредоточивала на нем одном свои чувства.

И счастливая неверность Орберозы вскоре спасла героя от большой опасности и навсегда обеспечила ему счастье и славу. Однажды Орбероза увидела в сумерках погонщика быков из Бельмонта. Он шел за своим стадом, и она полюбила его так, как никогда не любила пастуха Марсея. Он был горбат, плечи его были выше ушей, туловище покачивалось на неровных ногах, косые глаза дико сверкали из-под взъерошенных волос. Он говорил грубым голосом, смеялся резким смехом, и от него шел запах хлева. И все-таки он ей казался прекрасным. «Иной,—как сказал Гнатон,—любит растение, другой реку, а иной—зверя».

Однажды, когда она вздыхала, покоясь истомленная на деревенском чердаке в объятиях погонщика быков, вдруг до слуха ее дошли звуки труб, шум шагов, звук голосов. Она выглянула в слуховое окно и увидела толпу деревенских жителей, собравшихся на рыночной площади вокруг молодого монаха. А он, стоя на камне, ясным голосом говорил:

— Жители Бельмонта, аббат Маэль, наш почтенный отец, передает вам моими устами, что всякое оружие бессильно против дракона. Покорить его может только чистая дева. Если среди вас есть нетронутая дева, пусть она поднимется и пойдет навстречу чудовищу. Когда она

его встретит, пусть она обовьет своим кушаком его шею, и оно послушно пойдет за нею, как маленькая собачка.

Затем молодой монах, нахлобучив свой кашюшон на голову, отправился возвещать слова блаженного Маэля по другим деревням.

Он уже был далеко, а Орбероза, сидя на соломе возле своего возлюбленного, положив руку на колено и подпирая рукой подбородок, все еще думала о его словах. Хотя она гораздо меньше боялась для Кракена духовной власти чистой девы, чем вооруженных людей, все же слова блаженного Маэля ее обеспокоили. Смутный, но верный инстинкт, управлявший ее умом, предупреждал ее, что отныне Кракен не сможет быть драконом с прежней безопасностью.

Она спросила погонщика быков:

— Сердце мое, что ты думаешь о драконе?

Он ответил, качая головой:

— В древние времена, конечно, драконы действительно опустошали землю, и бывали драконы величиной с горы. Но теперь они исчезли, и, по моему, это чудовище, покрытое чешуей, которого так боятся, на самом деле пираты или купцы, которые увезли на своем корабле прекрасную Орберозу и самых красивых детей Альки. И если один из этих разбойников вздумает похитить моих быков, то я сумею силой или хитростью справиться с ним.

Эти слова погонщика быков еще более увеличили опасения Орберозы за супруга, которого она любила.

Глава X.

Дракон Альки.

(Продолжение).

Дни проходили, и ни одна дева не заявляла готовности сразиться с чудовищем. Старец Маэль, сидя в своем деревянном монастыре на скамейке, под тенью старинной смоковницы, рядом с благочестивым монахом, которого ввали Регименталем, с беспokoйством и грустью

вопрошал себя, как это в Альке не находится ни одной девы, способной сразиться с драконом.

Он вздохнул, а вслед за ним вздохнул и брат Регименталь. В эту минуту проходил по саду юный Самуил; старец Маэль подозвал его.

— Я снова думал, сын мой,—сказал он ему,—о средствах избавления от дракона, пожирающего цвет нашей молодежи, наших стад и наших жатв. В этом отношении история драконов святого Риока и святого Поля-де-Леона кажется мне особенно поучительной. Дракон святого Риока был длиной в шесть сажен. Голова его была на половину петушиной, на половину головой василиска, а туловище как у быка и как у змеи. Он опустошал берега Элорна во времена короля Бристока. Святой Риок, которому было тогда только всего два года, повел его на привязи до самого моря, и чудовище послушно погрузилось в воду. Дракон святого Поля, длиной в шестьдесят футов, был не менее ужасен. Благословенный апостол обязал его своей эпитрахилью и поручил одному знатному юноше большой чистоты повести его на привязи. Эти примеры доказывают, что Господу девственный юноша столь же угоден, как и чистая дева. Небо не делает разницы между ними. Вот почему, сын мой, я предлагаю вам пойти вдвоем со мною на берег Теней. Дойдя до пещеры дракона, мы громким голосом вызовем чудовище; а когда оно приблизится, я обяжу ему мою эпитрахиль вокруг шеи, и вы поведете его на привязи к морю, где он не преминет утопиться.

Выслушав старика, Самуил опустил голову и ничего не ответил.

— Вы как будто колеблетесь, сын мой,—сказал Маэль.

Брат Регименталь, против своего обыкновения, заговорил, не дожидаясь, чтобы к нему обратились с вопросом.

— Как тут не колебаться, — сказал он. — Святому Риоку было всего два года, когда он покорил дракона. Как знать, смог ли бы он проделать это девять или десять лет спустя? Вспомните, отец, что дракон, опустошающий наш остров, пожрал маленького Эло и четырех или пятилетних мальчиков, кроме него. Брат Самуил не так самона-

деян, чтобы считать себя в девятнадцать лет невиннее мальчиков двенадцати и четырнадцати лет.

— Увы, — прибавил со вздохом монах, — кто может похвастать целомудрием в мире, где все учит нас любви, где все в природе, животные и растения, призывают нас своим примером к любовным объятиям. Животные спешат сочетаться браком каждое на свой лад, но никакие браки четвероногих, птиц, рыб и земноводных не могут сравниться по сладострастию с браком у деревьев. Все, что язычники в своих мифах придумали чудовищного по бесстыдству, превзойдено самым простым полевым цветком, и если бы вы знали о блуде лилий и роз, вы отстранили бы от алтарей эти греховные чаши, эти сосуды соблазна.

— Не говорите этого, брат Регименталь, — ответил старец Маэль.—Подчиняясь законам естества, животные и растения остаются невинными. У них нет души, и им не приходится заботиться о спасении ее. Человек же...

— Вы правы, — возразил брат Регименталь. — Это другая песня. Но не посылайте юного Самуила к дракону: дракон его съест. Вот уже более пяти лет, как Самуил не мог бы поразить чудовище своей невинностью. В год появления кометы, дьявол, чтобы соблазнить его, послал навстречу ему молоденькую молочницу, которая подняла юбки, проходя в брод реку. Самуил почувствовал искушение, но преодолел его. Однако, дьявол, неутомимый в своих кознях, послал ему во сне образ этой молодой девушки. Тень сделала то, чего не могло сделать живое тело: Самуил поддался соблавну. Проснувшись, он оросил слезами свое оскверненное ложе. Увы, раскаяние не вернуло ему его невинности.

Слушая этот рассказ, Самуил не мог постигнуть, каким образом раскрылась его тайна. Он не знал, что дьявол принял образ брата Регименталья, чтобы смущать сердца монахов.

Старец Маэль погрузился в думы и с тревогой вопрошал себя:

— Кто спасет нас от зубов дракона? Кто оградит нас от его ядовитого дыхания? Кто отвратит от нас его взгляд?

Но жители Альки оправились тем временем от первоначального страха. Крестьяне долины Домб и погонщики быков из Бельмонта клялись, что они лучше справятся со страшным зверем, чем всякая девушка, и восклицали, щупая мускулы своих рук: «Пусть он только явится. Мы его одолеем!» Много мужчин и женщин видели его. Они были разного мнения относительно внешности дракона, но все одинаково утверждали, что он не такого огромного роста, как они думали сначала, а, напротив того, немногим выше обыкновенного человека. Во всех деревнях приготовились к обороне, под вечер караульщики становились у деревенских ворот, приготовившись поднять тревогу при появлении дракона. Отряды крестьян, вооруженных вилами и косами, сторожили ночью выгоны, в которых был заперт скот. Раз даже случилось, что в деревне Анисе отважные крестьяне увидели, как дракон перескочил через стену крестьянина Морио. Схватив цепи, вилы и косы, они бросились за ним и уже чуть было не настигли его. Один из них, сильный и проворный малый, совсем было достиг его вилами, но поскользнулся в луже и упустил его. Другие, наверное, поймали бы его, но замешкались, ловя кроликов и кур, которых он бросил, спасаясь бегством. Эти крестьяне заявили деревенским властям, что чудовище вполне человеческих размеров, но что голова и хвост у него, действительно, ужасны.

Глава XI.

Дракон Альки.

(Продолжение).

В этот день Кракен вернулся в пещеру ранее обыкновенного. Он снял с головы шлем из тюленьей шкуры с торчащими на нем двумя бычачьими рогами; забрало шлема снабжено было огромными клыками. Он бросил на стол перчатки, заканчивающиеся страшными когтями, сделанными из клювов морских птиц, затем снял пояс, с которого свисал длинный извилистый зеленый хвост. Потом он приказал папу своему Эло ста-

щить сапоги, и когда тот недостаточно проворно исполнил его приказание, он толкнул его ногой с такой силой, что мальчик отлетел на другой конец пещеры. Не взглянув на прекрасную Орберозу, которая пряла шерсть, он сел к очагу, где жарился баран, и проворчал:

— Проклятые пингвины! Нет хуже ремесла, чем быть драконом.

— Что говорит мой повелитель?—спросила прекрасная Орбероза.

— Они перестали бояться меня,—продолжал Кракен.—В прежнее время все убегали при моем появлении. Я уносил в мешке кур и кроликов, угонял баранов и свиней, коров и быков. А теперь эти негодяи оберегают свое добро и не подпускают меня. Только что в Анисе за мной погнались крестьяне, вооруженные цепями, косами и огромными вилами. Мне пришлось выпустить кур и кроликов, взять хвост на руку и бежать во все лопатки. Пристойно ли, спрашиваю я вас, каппадокийскому дракону бежать, как вору, подобрав хвост? К тому же мне мешали бежать все эти рога, клыки, когти, гребень и чешуя, так что я едва смог вырваться из рук негодяя, который ткнул меня вилой в левую ягодицу.

Говоря это, он осторожно тронул рукой потерпевшее место. Помолчав несколько минут в горьком раздумьи, он сказал:

— Идиоты же эти пингвины! Мне надоело пускать огонь в нос таким дуракам. Ты слышишь, Орбероза?

Сказав это, герой взял в руки страшный шлем и долго глядел на него в мрачном молчании. Наконец, он быстро заговорил:

— Этот шлем я сам выкроил в виде рыбьей головы из тюленьей шкуры. Чтобы придать ему более страшный вид, я приделал к нему бычьи рога и челюсть вепря, привесил к нему лошадиный хвост, выкрашенный в красный цвет. Ни один житель этого острова не мог вынести вида моего шлема, когда он покрывал мне голову до плеч в печальный предвечерний час. При моем появлении женщины, дети, молодые люди, старики бежали, как обезумевшие, и я наводил ужас на все племя пингвинов. Почему же теперь этот дерзкий народ.

забыв свои первоначальные страхи, осмеливается глядеть прямо в глаза этой страшной звериной морде и преследовать гриву, которая их так страшила.

Он бросил свой шлем на скалистую землю.

— Прощай, предательский шлем,—воскликнул Кракен.—Клянусь всеми демонами Армора, что никогда более не надену тебя на голову.

Сказав это, он бросил на землю, вслед за шлемом, перчатки, высокие сапоги, а также свой извилистый хвост.

— Кракен,—сказала прекрасная Орбероза,—позвольте вашей служанке пустить в дело хитрость, чтобы спасти вашу славу и ваше богатство. Не пренебрегайте помощью женщины. Вы в ней нуждаетесь, потому что все мужчины глупы.

— Женщина,—спросил Кракен,—каковы твои намерения?

И прекрасная Орбероза предупредила своего супруга, что по городам и селам ходят монахи и объясняют населению, как избавиться от дракона. По их словам, чудовище может победить только чистая дева. Если такая дева обовьет шею дракона своим поясом, она сможет повести его за собой, как кроткую маленькую собачку.

— Как ты узнала, что монахи это говорят?—спросил Кракен.

— Друг мой,—ответила Орбероза,—не прерывайте серьезной беседы пустыми вопросами... И поэтому, прибавляют монахи, если в Альке найдется чистая дева, пусть она заявит о себе. И вот я решила, Кракен, пойти на их зов. Я отправлюсь к святому мужу Маэлю и скажу ему: «я дева, посланная небом для покорения дракона».

— Какая же ты чистая дева?—воскликнул Кракен.—Да и зачем тебе вступать в бой со мною, Орбероза? Обезумела ты, что ли? Знай, что я не дам тебе победить себя.

— Прежде чем гневаться, не лучше ли попытаться понять?—сказала со вздохом прекрасная Орбероза, и в голосе ее прозвучало глубокое и кроткое презрение.

Она изложила ему свой хитрый план.

Герой задумчиво слушал ее.

— Орбероза,—сказал он, когда она кончила,—хитрую же ты задумала штуку! Если все исполнится согласно твоим ожиданиям, то я извлеку из этого большие выгоды. Но как же ты сделаешься девой, посланной небесами.

— Предоставь эту заботу мне, Кракен,—возразила она,—а теперь пойдем спать.

На следующий день, в пещере, благоухающей запахом жира, Кракен изготовлял из ивовых прутьев обручи таких размеров, чтобы внутри их свободно мог пролезть ребенок, а прекрасная Орбероза вшивала эти обручи в большой чехол из зеленого холста на одинаковом расстоянии один от другого, изготовляя некоторое подобие кольчатого туловища змеи. Потом она прикрепила к одному концу страшный нашлемник и забрало, которое носил Кракен, отправляясь делать свои опустошительные набеги. К другому концу она пришила извилистый хвост, который Кракен обыкновенно тащил за собой. Затем они обшили холщевый чехол раковинками в виде чешуи, и, когда эта работа была закончена, они научили маленького Эло и других пятерых детей, которые им прислуживали влезать в это змеиное чучело, двигать его, дуть в рога и жечь паклю для того, чтобы из пасти дракона вырывалось пламя и дым.

Глава XII.

Дракон Альки.

(Продолжение).

Орбероза надела платье из грубой шерстяной материи, подпоясалась простой веревкой, отправилась в монастырь и сказала, что желает видеть блаженного Маэля. А так как женщинам запрещено было вступать в ограду монастыря, то старец Маэль вышел из дверей, держа в правой руке пастырский посох и опираясь левой рукой

на плечо брата Самуила, самого молодого из своих учеников.

— Женщина, кто ты?—спросил он.

— Я—дева Орбероза.

При этом ответе Маэль воздел к небу дрожащие руки.

— Правду ли ты говоришь, женщина? Достоверно известно, что Орберозу пожрал дракон. И вдруг я вижу перед собой Орберозу и слышу ее голос! Так, может быть, дочь моя, очутившись во внутренностях чудовища, ты вооружилась знаменем креста и вышла невредимой из его пасти? Это мне кажется наиболее вероятным.

— Ты не ошибся, отец, — ответила Орбероза. — Это именно и случилось со мной. Как только я вышла из пасти чудовища, я поселилась в уединенном месте на берегу Теней. Там я жила в одиночестве, предаваясь молитве и размышлениям, а также совершая неслыханные подвиги воздержания. Тогда голос свыше возвестил мне, что только чистая дева может покорить дракона, и что эта дева — я.

— Покажи мне знак, свидетельствующий о твоём небесном призвании, — сказал старец.

— Этот знак я сама, — ответила Орбероза.

— Я знаю, как сильны духом закалившие свою плоть, — сказал апостол пингвинов. — Но действительно ли ты такова, как говоришь?

— Ты убедишься в этом на деле, — ответила Орбероза.

Монах Регименталь приблизился к ним:

— Это и будет лучшим доказательством, — сказал он. —

Царь Соломон сказал: «Три вещи трудны, а четвертая недоступна познанию. Я не могу узнать: следов орла на небе, змея на скале, корабля на воде и мужчины в женщине». Женщины, которые считают себя более сведущими в таких делах, чем мудрейший из царей, преступно дерзки. Советую вам, отец, не советоваться с ними относительно девственности благочестивой Орберозы. Когда они выскажут вам свое мнение, вы всетаки останетесь в неизвестности. Девственность так же трудно доказать, как и сохранить. Плиний говорит в своей истории, что все признаки ее только воображаемые или, во всяком

случае, чрезвычайно сомнительные *). Иная носит на себе четырнадцать знаков растления и все же чиста в глазах ангелов, а иная, напротив того, хотя матроны исследовали ее глазом и пальцем и признали нетронутый, обязана своим внешним видом сохранности лишь ухищрениям опытного разврата. Что касается чистоты этой святой девы, то я готов положить за нее руку в огонь.

Он так говорил потому, что был дьяволом. Но старец Маэль этого не знал. Он спросил святую Орберозу:

— Дочь моя, что вы намерены предпринять, чтобы победить страшное чудовище, пожравшее вас?

Дева ответила:

— Завтра, отец Маэль, созови в час восхода солнца весь народ на вершину холма, с которого видна опустошенная степь до берега Теней. Следи за тем, чтобы ни один пингвин не приближался более, чем на пятьсот шагов, к утесам. Иначе он будет отравлен дыханием чудовища. Дракон выйдет из своей пещеры, и я повяжу ему шею своим поясом и поведу его за собой, как покорную собачку.

— Не возьмешь ли ты в спутники какого-нибудь храброго и благочестивого человека, для того, чтобы он убил дракона?—спросил Маэль.

— Да старец, ты прав: я вручу чудовище Кракену, который заколет его своим сверкающим мечом. Ибо ты должен знать, что благородный Кракен, которого считали умершим, вернется в страну пингвинов, и что именно он убьет дракона. Из чрева дракона выйдут маленькие дети, которых он пожрал.

— То, что ты возвещаешь мне, дева, — воскликнул апостол, — кажется мне чудом, превышающим человеческую власть.

— Так оно и есть, — возразила дева Орбероза. — Но кроме того, отец Маэль, мне было возвещено, что в награду за освобождение от дракона племя пингвинов должно будет платить рыцарю Кракену ежегодную дань из трехсот кур, двенадцати баранов, двух быков, трех

*) Эту фразу мы тшетно искали в „Естественной Истории“ Плиния. Изд.

свиней, тысячи восьмисот мер хлеба и овощей. Кроме того, дети, которые выйдут из чрева дракона, должны быть отданы рыцарю Кракену в качестве верных и покорных слуг. Если племя пингвинов не сдержит своих обязательств, то появится новый дракон, еще более страшный, чем первый. Я кончила.

Глава XIII.

Дракон Альки.

(Продолжение и конец).

Племя пингвинов, созданное старцем Маэлем, провело ночь на берегу Теней у границы, проведенной святым мужем для того, чтобы ни один из пингвинов не был отравлен дыханием чудовища.

Ночная тень еще покрывала землю, когда, давая знать о себе глухим рычанием, дракон показался на утесах берега, влача свое огромное, смутно обрисовывавшееся в темноте, туловище. Он полз, как змея, и его извивающееся тело казалось длиной в пятнадцать футов. При виде его толпа в ужасе отшатнулась. Вскоре все взгляды обратились на деву Орберозу; при первых проблесках утренней зари, вся в белом, она шла по розовому вереску. Скромной и бесстрашной поступью она направилась к дракону, который страшно зарычал и раскрыл огненную пасть. Крик ужаса и жалости раздался в толпе пингвинов. Но дева, сняв свой льняной пояс, обвила им шею дракона и повела его, как покорную собачку, при громких рукоплесканиях и приветственных криках зрителей.

Она прошла уже довольно большое пространство по степи, как вдруг появляется Кракен, вооруженный сверкающим мечом. Народ, который считал его умершим, радостно приветствует его. Герой бросается к чудовищу, переворачивает его на спину и раскраивает ему мечом живот, из которого выскакивают в рубашках, с завитыми локонами и молитвенно сложенными руками маленький Эло и остальные пять мальчиков, которых пожрало чудовище.

Они бросаются к ногам девы Орберозы, которая заключает их в свои объятия и говорит им на ухо:

— Отправьтесь теперь во все деревни и говорите всюду: мы — бедные маленькие дети, которых пожрал дракон, и мы вышли в рубашках из его чрева. Жители деревень дадут вам все, что только пожелаете. Но если вы будете говорить что-нибудь другое, то ничего, кроме колотушек, не получите. Марш в дорогу.

Несколько пингвинов, увидав, что дракон убит, бросились, чтобы разорвать его на клочки, одни из чувства ярости и мести, другие же с целью завладеть волшебным камнем, драконитом, который рождается в голове дракона. Матери воскресших детей бросились, было, тоже бежать к ним, но святой муж Маэль удерживал всех, убеждая их, что они недостаточно святы, чтобы приблизиться к дракону, не заплатившись за это жизнью.

И вскоре маленький Эло и пятеро других детей пошли сами к толпе народа и сказали:

— Мы бедные маленькие дети, которых пожрал дракон, и мы вышли в рубашках из его чрева.

Услышав эти слова, все говорили им, целуя их:

— Благословенные дети, мы вам дадим все, чего вы только пожелаете.

И толпа народа разошлась с пением радостных гимнов и молитв.

В ознаменование дня, когда провидение спасло страну от тяжкого бедствия, учреждены были процессии, во время которых по улицам возили изображение закованного в цепи дракона.

Кракен собирал ежегодную дань и сделался самым богатым и могущественным из пингвинов. В знак своей победы и для того, чтобы внушать всем благотворный страх, он носил на голове гребень дракона и часто говорил:

— Теперь, когда чудовище убито, — я дракон.

Орбероза еще долго обвивала своими любвеобильными руками шеи погонщиков быков и пастухов, угождая их богам, а когда красота ее прошла, она посвятила себя Господу.

Ей воздавали в старости общественные почести, а после смерти она была причислена к лику святых и сделалась небесной заступницей Пингвинии.

Кракен оставил после себя сына, который, как и его отец, носил гребень дракона и получил, вследствие этого, прозвище Дракона. Он основал первую королевскую династию пингвинов.



КНИГА ТРЕТЬЯ.

СРЕДНИЕ ВЕКА И ВОЗРОЖДЕНИЕ.

Глава I.

Бриан Благочестивый и королева Гламоргана.

Короли Альки, потомки Дракона, сына Кракена, носили на голове огромный драконовый гребень, священную эмблему, один вид которой внушал народу благоговение, ужас и любовь. Короли эти вели постоянную борьбу или со своими вассалами и подданными, или же с властителями островов соседних материков.

Древнейшие из этих королей оставили потомству только память о своем имени. И то еще неизвестно, как эти имена писались и как они произносились. Первый драконид, известный в истории, был Бриан Благочестивый, который прославился своим лукавством, а также своей отвагой в битвах и на охоте.

Он был христианин, любил науки и покровительствовал людям, предавшим себя монашеской жизни. В зале дворца, где под закопченными балками висели головы и рога диких зверей, он устраивал пиры, на которые созывал всех артистов Альки и соседних островов и сам пел хвалы героям. Справедливый и великодушный, но одержимый страстной любовью к славе, он не мог удержаться, чтобы не предавать смерти тех, которые пели лучше его.

Инверских монахов изгнали из их монастыря язычники, опустошавшие Бретань. Король Бриан позвал их в свое королевство и выстроил для них около своего двор-

ца деревянный монастырь. Он каждый день отправлялся с королевой Гламорганой, своей супругой, в часовню монастыря, присутствовал при богослужении и сам пел гимны.

Среди ивернских монахов был один, по имени Оддул, который в цвете молодых лет отличался большими знаниями и добродетелью. Дьяволу это было очень досадно, и он много раз пытался ввести в искушение монаха. Он принимал разные образы и показывал ему поочередно то боевого коня, то молодую деву, то чашу сладкого меда. Потом он щелкнул двумя игральными костями в стакане и сказал:

— Хочешь сыграть со мной на царство земное против одного волоса с твоей головы?

Но верный Божий человек, оградившись крестным знаменем, оттолкнул врага. Видя, что ему не удастся его соблазнить, дьявол решил погубить его хитростью. Однажды в летнюю ночь, он подошел к королеве, заснувшей на своем ложе, представил ее воображению образ юного монаха, которого она ежедневно видела в деревянном монастыре, и заворожил этот образ. Любовь сейчас же влилась, как тонкий яд, в жилы Гламорганы. Она загорелась желанием изведать радости любви с Оддулом. Выискивая беспрестанно разные предлоги, чтобы приблизить его к себе, она попросила его учить ее детей чтению и пению.

— Я поручаю их вам, — сказала она. — И я сама буду тоже присутствовать при ваших уроках. Вместе с сыновьями вы будете учить и мать.

Но молодой монах отклонил ее предложение, говоря, что он недостаточно учен, чтобы быть наставником ее детей, и что монашеский обет запрещает ему общение с женщинами. Этот отказ усилил желание Гламорганы. Однажды, когда она томилась на своем ложе, муки ее сделались нестерпимыми, и она велела призвать к ней Оддула. Он пришел, повинувшись ее приказу, но остановился на пороге, опустив глаза. Нетерпение и печаль испытала она оттого, что тот не глядел на нее.

— Посмотри, — сказала ему она, — у меня уже нет

сил страдать. Тень стелется перед моими глазами. Тело мое горит и леденеет.

Так как он молчал и не двигался, она позвала его умоляющим голосом:

— Приди ко мне. Приди!

И страстно протягивая к нему руки, она пыталась схватить его и привлечь к себе.

Но он убежал, укоряя ее в бесстыдстве.

Тогда, вне себя от гнева и боясь, что Оддул расскажет о позоре, до которого она пала, она решила погубить его самого, чтобы он не погубил ее.

Жалобным голосом, раздавшимся по всему дворцу, она стала звать к себе на помощь, точно ей, действительно, грозила большая опасность. Прибежавшие на ее зов служанки увидели убегающего молодого монаха и королеву, которая натягивала на себя одеяло. Все они стали кричать, что монах хотел убить королеву. И когда, услышав крик, король Бриан вошел в комнату, Гламоргана, указывая на свои растрепанные волосы, на глаза, влажные от слез, и на грудь, которую она растерзала ногтями в бешеном припадке страсти, обратилась к нему со следующими словами:

— Господин мой и супруг, — взгляните на следы перенесенных мною оскорблений. Одержимый гнусной страстью, Оддул приблизился ко мне и пытался совершить надо мною насилие.

Услышав эти жалобы, видя эту кровь, король, одержимый яростью, приказал стражникам схватить молодого монаха и сжечь его живым перед дворцом, на глазах королевы.

Узнав об этом происшествии, настоятель ивернского монастыря отправился к королю и сказал ему:

— Король Бриан, на этом примере видна разница между христианкой и язычницей. Римлянка Лукреция была самая добродетельная из языческих принцесс. И все же она не сумела защитить себя от нападок изнеженного юноши. Стыдясь своей слабости, она впала в отчаяние. А Гламоргана устояла против бешеной страсти преступника, одержимого самым страшным из демонов.

Оддул тем временем ждал в дворцовой тюрьме часа, когда его сожгут живым. Но Господь не допустил гибели невинного. Он послал ему ангела, который принял образ служанки королевы, по имени Гудруны, вывел его из тюрьмы и провел в комнату той женщины, образ которой принял.

И ангел сказал молодому Оддулу: «Я тебя люблю, потому что ты смел».

И юный Оддул, полагая, что эти слова говорит, действительно, Гудруна, ответил, опустив глаза:

— Только благодаря помощи Господней я смог устоять неистовым желаниям королевы и не убоился гнева этой могущественной женщины.

И ангел спросил его:

— Как, ты не совершил того, в чем тебя обвиняет королева?

— Клянусь тебе, что не совершил, — ответил Оддул, приложив руку к сердцу.

— Ты не совершил этого?

— Нет. Я не совершил этого. Одна мысль о таком поступке преисполняет меня ужасом.

— Так чего же ты тут торчишь, мокрая курица?

Он открыл дверь. Оддул почувствовал, что его выталкивают вон, давая ему этим возможность бежать.

Как только Оддул очутился на улице, кто-то облил его сверху помоями, и он подумал: «Неведомы цели твои, о Господи, и неисповедимы пути Твои».

Глава II.

Дракон великий. Перенесение мощей святой Орберозы.

Потомство Бриана Благочестивого по прямой линии вымерло около 900 года в лице Коллика Коротконосого. Двоюродный брат этого принца, Боско Великодушный, унаследовал его престол и, чтобы укрепить за собой королевскую власть, поваяботился умертвить всех своих родственников. Он сделался родоначальником целого ряда могущественных королей.

Один из них, Дракон Великий, прославился своими

войнами. Он чаще терпел поражения, чем другие, но именно по этому постоянству в неудачах узнаются великие полководцы. В течение двадцати лет он сжег более ста тысяч деревень, сел, местечек, городов, округов. Он жег безразлично неприятельские земли и свои собственные владения. И чтобы объяснить свой образ действия, он обыкновенно говорил:

Война без пожара, точно рубцы без горчицы: бесмысленная вещь.

Правосудие его совершалось с величайшей строгостью. Когда взятые в плен крестьяне не могли заплатить за себя выкуп, он вешал их на первом дереве; если же какая-нибудь несчастная женщина умоляла его пощадить ее несостоятельного мужа, он волочил ее за собой по земле, привязав за волосы к хвосту своей лошади. Он жил, как солдат, без всякой изнеженности и отличался по общему признанию чистотой жизни. И он не только не уронил унаследованного им величия своего королевства, но мужественно поддерживал даже в поражениях честь пингвинского народа.

Дракон Великий повелел перенести в Альку мощи святой Орберозы.

Тело блаженной было погребено в гроте на берегу Те-ней, в глубине благоуханной долины. Первыми паломниками, приходившими поклоняться ее праху, были юноши и молодые девушки соседних деревень. Они отправлялись туда большей частью вечером, парами; набожные чувства ищут, повидимому, мрак и тишину для своего проявления. Они чтили свою святую с пламенным рвением, ревниво оберегая тайну своего поклонения. Они не рассказывали о своих переживаниях у гроба святой. Но их иногда заставляли напештывающими друг дружке слова любви и восторга, которые они примешивали к святому имени Орберозы. Одни утверждали, вздыхая, что там забываешь весь мир. Другие говорили, что из грота выходишь успокоенным и довольным. Молодые девушки вспоминали, сходясь, о блаженстве, которое они там испытывали.

Таковы были чудеса, которые совершала дева из Альки на заре своей прославленной вечности: в чудесах этих

чувствовалась нежность и неопределенность рассвета. Вскоре тайна грота распространилась по всей стране, как тонкое благоухание. Для чистых душ это был источник радости и поучительности, а люди испорченные тщетно старались отвлечь верующих ложью и клеветами от источников благодати, истекающих из гробницы святой. Церковь позаботилась, чтобы благодать эта не составила исключительной собственности нескольких чад, а распространилась бы на всех христиан Пингвинии. В гроте утвердились монахи, построили монастырь, часовню, странноприимный дом на берегу, и богомольцы стали стекаться туда со всех сторон.

Как бы укрепившись более продолжительным пребыванием на небесах, блаженная Орбероза свершала теперь более существенные чудеса на благо тем, которые приходили возлагать приношения на ее гробницу. Она подавала надежды бесплодным женщинам, посылала успокаивающие сны ревнивым старцам, несправедливо подозревавшим в измене своих молодых супругов. Она отвращала от Пингвинии мор, падеж скота, голод, бури и кашпадокских драконов.

Но во время смут, волновавших Пингвинию при короле Коллике и его преемниках, гробницу святой Орберозы ограбили, похитив все драгоценности, монастырь сожгли, и монахи разбрелись во все стороны. Дорога, по которой ходили толпы благочестивых богомольцев, заросла утесником, бурьяном и голубым чертополохом, растущим на песке. В течение ста лет чудотворную гробницу навещали только гадюки, ласки и летучие мыши. Тогда святая явилась однажды одному местному крестьянину, по имени Момордику.

— Я—дева Орберова,—сказала ему она;—я возлагаю на тебя священную миссию восстановить мое святилище. Возвести жителям этих стран, что если они попрежнему будут пренебрегать моей памятью и лишат мою гробницу почестей и богатств, то новый дракон разорит Пингвинию.

Ученые церковники исследовали историю появления и признали, что оно было действительное и не дьявольское, а небесное: впоследствии обращено было внимание на

то, что во Франции при таких же обстоятельствах святая Вера и святая Катерина действовали точно так же и говорили то же самое.

Монастырь был восстановлен, и снова туда стали стекаться отовсюду верующие. Дева Орбероза совершала все большие и большие чудеса. Она излечивала разные, очень гибельные болезни, в особенности искривление ног, водянку, паралич и пляску святого Витта. Монахи, хранители гробницы, жили в завидном богатстве, когда святая, явившись королю Дракону Великому, повелела признать ее небесной заступницей его царства и перенести ее священный прах в собор города Альки.

Тогда благоуханные останки этой девы были перенесены с большой пышностью в собор столицы государства и помещены в алтаре, в раке из золота и эмали, украшенной драгоценными камнями.

Причт собора стал вести список чудес, свершившихся при содействии блаженной Орберозы.

Дракон Великий, который в течение всего своего царствования защищал и превозносил христианскую веру, умер, исповедуя преданность церкви и оставив ей большие богатства.

Глава III.

Королева Крюша.

После смерти Дракона Великого начались страшные смуты. Преемников его часто обвиняли в слабости. Действительно, ни один из них не следовал хотя бы издали примеру своего доблестного предка.

Сын Дракона, хромой Шум, не заботился о расширении пределов своего королевства. Сына Шума, Боло, умертвила дворцовая стража в момент восшествия на престол, когда ему было девять лет. Его преемником был брат его Гун. Ему было всего семь лет, и за него управляла государством его мать—королева Крюша.

Крюша была красива, образована и умна. Но она не умела сдерживать свои страсти. Вот как говорит в своей летописи об этой знаменитой королеве достопочтенный Тальпа:

«Королева Крюша не уступает по красоте лица и по стройности стана ни Семирамиде, царице вавилонской, ни Пентесилее, королеве Амазонок, ни Саломее, дочери Иродиады. Но она отличается некоторыми особенностями, которые можно считать красивыми или уродливыми, смотря по разноречию человеческих суждений. У нее на лбу два маленьких рога, которые она прячет под густыми волнами своих золотистых волос. Один глаз у нее голубой, другой черный, а шея слегка склоняется влево, как у Александра Македонского; у нее шесть пальцев на правой руке и маленькая обезьянья головка на животе под пушком.

«Поступь у нее величественная и нрав обходительный. Она очень щедра, но не всегда умеет подчинить свои желания голосу разума.

«Однажды, заметив в придворных конюшнях молодого, очень красивого конюха, она сразу вспыхнула к нему любовью и поручила ему командование войсками. То, что заслуживает несомненной похвалы в этой великой королеве,—это ее щедрые дары церквям, монастырям и часовням ее королевства. В особенности милости ее были велики по отношению к святому биргарденскому монастырю, где я, милостью Господней, произнес монашеский обет в четырнадцать лет. Она заказала столько месс за упокой своей души, что все священники пингвинской церкви превратились, так сказать, каждый в возженную свечу, обращенную к небу с мольбой о ниспослании милостей на августейшую Крюшу».

По этой выписке и по некоторым другим, которыми я украсил свой рассказ, можно судить об исторических и литературных достоинствах *Gesta Pinguinorum*. К несчастью, эта летопись обрывается на третьем году царствования Дракона Простодушного, преемника Гуна Слабого. Дойдя до этого места в моей истории, я, к сожалению, лишаюсь верного и приятного руководителя.

В течение двух следующих веков Пингвиния была погружена в кровавую анархию. Искусство погибло. Среди общего невежества одни только монахи предавались в тени своего монастыря ученым трудам и переписывали с неустанным рвением Священное Писание. Так как

трудно было достать пергамент в то время, то они выскабливали старые рукописи и вписывали в них священные тексты. И таким образом, цвели библии как розовый куст в стране пингвинов.

Монах ордена святого Бенедикта, Эрмольд-Пингвин, один стер текст с четырех тысяч греческих и латинских рукописей, для того, чтобы четыре тысячи раз переписать Евангелие от Иоанна. Так были уничтожены в большом количестве великие произведения античной поэзии и ораторского искусства. Историки единодушно признают, что пингвинские монастыри были очагами образованности в средние века.

Вековые войны пингвинов и морских свинок наполняют собой весь конец этого периода. Чрезвычайно трудно установить истину относительно этих войн, не из-за недостатка рассказов о них, а вследствие того, что рассказов этих есть несколько. Летописцы обеих сторон одинаково противоречат друг другу. Я нашел двух летописцев, согласных между собой. Но оказалось, что один списал все у другого. Несомненно одно,—что убийства, насилия, пожары и грабительства шли непрерывной чередой.

В царствование несчастного короля Боско IX Пингвиния очутилась на краю гибели. Когда получилось известие, что флот морских свинок, состоящий из шестисот больших парусных кораблей, приближается к берегам Альки, епископ устроил торжественную процессию. Соборный клир, выборные судьи, члены парламента и университетские ученые отправились в собор за ракой святой Орберозы и обнесли ее вокруг города в сопровождении всего народа, певшего гимны. Верующие не тщется взывали к святой заступнице. Тем временем морские свинки осадили город одновременно с суши и с моря, взяли его приступом и в течение трех дней и трех ночей убивали, грабили, насиловали и жгли с равнодушием, которое порождается привычкой.

Поразительно, что в течение этих долгих железных веков вера сохранилась в полной неприкосновенности среди пингвинов. Блеск истины ослеплял в то время души, не извращенные софизмами. Это и объясняет единство веры во всем населении. Кроме того, неизменный обычай

церкви сильно способствовал твердости и единению верующих: всякого пингвина, который думал иначе, чем другие, сейчас же сжигали.

Глава IV.

В малолетство короля Гуна.—Литература.—Иоанн Тальпа.

Иоанн Тальпа, биргарденский монах, написал в монастыре, где он постригся одиннадцати лет и откуда не выходил ни разу во всю свою жизнь, свою знаменитую латинскую летопись в двенадцати книгах „*De Gestis Pinguinorum*“.

Высокие стены биргарденского монастыря стоят на вершине неприступного утеса. Вокруг него видны только синие вершины гор, пересеченные облаками.

Иоанн Тальпа был уже стар, когда предпринял составление *Gesta Pinguinorum*. Добрый монах заботливо сообщает нам об этом в своей книге. «Голова моя давно утратила,—говорит он,—украшавшие ее светлые кудри, и череп мой сделался похож на выпуклое металлическое зеркало, в которое так усердно глядятся пингвинские дамы. Я был всегда невысокого роста, но с годами стан мой совсем сторбился. Моя белая борода греет мне грудь».

Тальпа с очаровательной наивностью рассказывает о некоторых обстоятельствах своей жизни и о некоторых чертах своего характера.

«Происходя из знатной семьи,—говорит он,—и с детства предназначенный к духовному званию я обучался грамматике и музыке. Я научился читать под руководством учителя, которого звали Амикусом, но было бы вернее назвать его Инимикусом. Так как азбука давалась мне не легко, он больно сек меня розгами, так что можно сказать, что он запечатлел азбуку жгучими буквами на моих ягодицах».

В другом месте Тальпа признается в своем природном влечении к сладострастию в следующих характерных выражениях: «В юности пылкость моих чувств была так велика,—говорит он,—что даже в лесной тени я скорее чувствовал себя точно в кипящем котле, чем вдыхал прохладный воздух. Я избегал женщин, но тщетно! Мне доста-

точно было бутылки или колокольчика, чтобы представить себе женщину».

В то время, как он составлял свою хронику, страшная война, одновременно и внешняя, и внутренняя, опустошала страну пингвинов. Солдаты Крюши, пришедшие защищать биргарденский монастырь от варваров морских свинок, засели там накрепко. Для того, чтобы сделать монастырь неприступным, они пробили бойницы в стенах, сняли с церкви свинцовую крышу и стали отливать из нее пули для пращей. Они зажигали ночью во внутренних дворах большие костры, на которых жарили целых быков, втыкая их на стволы старых горных сосен. Собираясь вокруг огня, в дыму, пропитанном запахом жира и смолы, они вышибали дно у бочек с вином и пивом. Их песни, их ругательства и шум их драк покрывал звон утренних колоколов.

Наконец, морские свинки, пройдя через горные ущелья, осадили монастырь. Это были северные витязи, закованные в медную броню. Они приставляли к стенам утесов лестницы в полтора саженей, и лестницы эти ломались под бурей во мраке от тяжести тел и оружия; отряды воинов прятались во рвах и в пропастях. Среди мрака раздавался долгий протяжный рев, и приступ возобновлялся. Пингвины выливали целые ручьи кипучей смолы на осаждающих, и те горели, как факелы. Морские свинки шестьдесят раз бешено бросались на приступ, и шестьдесят раз пингвины их отбивали.

В течение уже десяти месяцев продолжалась осада, когда в день Крещения один пастух показал морским свинкам тайную дорожку, по которой они взобрались на гору, проникли в подземелья монастыря, рассыпались по внутренним дворам, кухням, заняли церковь, зал совета, библиотеку, прачечную, келии, трапезную, спальни, зажгли постройки и начали убивать и насиловать без различия пола и возраста. Пингвины, вскочив со сна, стали вооружаться. Ничего не видя от испуга, они бросались на своих же, в то время как морские свинки отбивали друг друга ударами топора священные сосуды, кадилницы, паникадила, ризы, раки, золотые кресты и драгоценные камни.

Воздух наполнился едким запахом горелого мяса. Крики и стоны вырывались из пламени, и по краям срывающихся крыш монахи бегали тысячами, как муравьи, и падали вниз. А Иоанн Тальпа продолжал свою хронику. Солдаты Крюши поспешно вышли из монастыря и закрыли громадными камнями все выходы оттуда, чтобы запереть таким образом морских свинок в горящем здании. А для того, чтобы раздавить врага потоком огромных камней и оторванных частей стен, они устроили тараны из стволов самых старых дубов. Горящие балки падали с громовым грохотом, и высокие своды рушились под ударами гигантских деревьев, раскачиваемых шестьюстами людей зараз. Вскоре от богатого большого монастыря осталась только келья Иоанна Тальпы, удержавшаяся чудесным случаем на обломке дымившегося выступа крыши. Старик летописец все еще продолжал писать.

Такая удивительная сосредоточенность ума, может показаться чрезмерной для летописца, который задается целью передать совершившиеся события своего времени. Но как бы ни быть рассеянным и равнодушным ко всему окружающему, все же нельзя не чувствовать его влияния. Я рассмотрел собственноручную рукопись Иоанна Тальпы в Национальной библиотеке: fonds ping. = K. L⁶., 12 quater. Эта рукопись на пергаменте из 628 листков. Написана она крайне неровным почерком. Буквы, вместо того, чтобы идти по прямой линии, разбегаются во все стороны и насакаивают одна на другую в полном беспорядке, или, можно сказать, в ужасной суматохе. Они так плохо начертаны, что большей частью невозможно не только распознать их, но даже отличить их от клякс, которых в рукописи чрезвычайно много. Эти драгоценные страницы свидетельствуют своим внешним видом о смутном времени, к которому они относятся. Прочсть эту рукопись чрезвычайно трудно. Но стиль биргарденского монаха, напротив того, не обнаруживает никакого волнения. Тон *Gesta Pinguinorum* никогда не отступает от простоты. Повествование сжатое и быстрое, иногда почти сухое. Размышлений мало, и они по большей части резонны.

Глава V.

Искусство: примитивы пингвинской живописи.

Пингвинские критики утверждают, что пингвинское искусство отличалось с самого своего зарождения мощной и обаятельной оригинальностью, и что нигде нельзя найти столько прелести и ясности, как в первых художественных произведениях пингвинских мастеров. Но морские свинки уверяют, что их художники постоянно были учителями и вдохновителями пингвинских художников. Трудно решить, кто из них прав, потому что пингвины, прежде чем начать поклоняться своим примитивам в искусстве, уничтожили все их произведения.

Эта утрата крайне прискорбна. Я с своей стороны особенно огорчен, ибо я преклоняюсь перед пингвинскими древностями и вообще люблю произведения примитивов.

Они прелестны. Я не говорю, что все они схожи между собой. Это было бы неверно. Но у них есть общие черты, встречающиеся во всех школах. У них есть формулы, которыми они всегда следуют, и есть какая-то особенная законченность; то, что они знают, они знают хорошо. К счастью, можно составить себе понятие о пингвинских примитивах по примитивам итальянским, фламандским, немецким и французским, которые выше всех других. У них, как говорит Грюер, больше логики, так как логика чисто французское качество. Но если бы даже и не согласиться с этим, то все же за Францией остается то преимущество, что она сохранила работы своих примитивов, в то время, как у других наций таковых не осталось. На выставке французских примитивов в павильоне Марсан в 1904 году было несколько маленьких панно времени последних Валуа и Генриха IV. Мне пришлось совершить много путешествий, чтобы видеть картины братьев ван-Эйк, Мемлинга, Роже ван-дер-Вейдена, автора Смерти Марии, Амроджо Лоренцетти и старых умбрийцев.

Но не в Брюгге, и не в Кельне, и не в Сиене и не в Перудже завершилось мое посвящение в тайнства живописи примитивов. Только в маленьком городе Ареццо я сделался сознательным поклонником наивной живописи.

Это было лет десять или более тому назад. При тогдашней бедности и простоте нравов в итальянских городах музеи были всегда закрыты и всегда открывались для «форестьеров». Однажды вечером старушка со свечкой в руках показала мне за пол-лиры грязный музей в Ареццо, и я открыл там картину Маргаритоне, «Святого Франциска», который тронул меня до слез своей благочестивой скорбью. Впечатление, которое картина эта произвела на меня, было очень глубокое, и с этого дня Маргаритоне из Ареццо сделался моим любимым примитивом.

Я представляю себе пингвинских примитивов по работам этого художника, и поэтому я позволю себе остановиться подольше на творчестве Маргаритоне, не вдаваясь в слишком большие подробности, а рассматривая его в наиболее характерных его работах.

Сохранилось пять или шесть его надписных картин. Главное его произведение находится в лондонской Национальной галлерее. Оно изображает Мадонну, сидящую на троне с Младенцем Иисусом на руках. В этой картине прежде всего поражают пропорции. Тело от шеи до ног не более чем в два раза больше головы и кажется поэтому чрезвычайно коротким и приземистым. И колорит этой картины столь же поразителен, как и рисунок. Великий Маргаритоне имел в своем распоряжении лишь небольшое количество красок и клал их цельными, никогда не разбивая тонов. Вследствие этого в красках его больше яркости, чем гармонии. Щеки Богоматери и Младенца ярко-алого цвета, и старый мастер, с наивным пристрастием к определенности, расположил красную краску на каждом лице совершенно одинаковыми кружками, сделанными как бы с помощью циркуля.

Ученый критик XVIII века, аббат Ланци, отнесся с глубоким презрением к живописи Маргаритоне. «Живопись его, — сказал он, — грубая мазня. В те жалкие времена не умели ни рисовать, ни писать».

Таково было общее мнение этих пудренных знатоков. Но великий Маргаритоне и его современники были вскоре отомщены за столь жестокое презрение к ним. В девятнадцатом веке в библейских деревушках и реформистских коттеджах благочестивой Англии народилась

толпа маленьких Самуилов и маленьких св. Иоаннов, завитых как барашки, которые около 1840 и 1850 годов превратились в ученых в очках и основали культ примитивов.

Знаменитый теоретик прерафаэлитизма, сэр Джемс Текет, не колеблясь признает Мадонну Национальной галлерей одним из величайших произведений христианской живописи. «Сделав голову Мадонны, — говорит сэр Джемс Текет, — в треть всей фигуры, старый мастер привлек и сосредоточил внимание зрителя на самом возвышенном в человеческом облике и, в особенности, на глазах, которые можно назвать органами духовной жизни. В этой картине колорит присоединяется к рисунку, чтобы произвести впечатление идеальное и мистическое. Пурпур щек не напоминает естественный цвет лица. Напротив того, старый мастер как будто хочет изобразить на лицах Богоматери и Младенца райские розы».

В этом критическом разборе сверкает, можно сказать, отблеск картины, которую восхваляет критик. Серафический эстет из Эдинбурга, Мак Силли, передает еще более прочувствованно и возвышенно впечатление, произведенное на него картиной этого примитива. «Мадонна Маргаритоне, — говорит почтенный Мак Силли, — достигает потусторонней цели искусства. Она внушает зрителям чувства невинности и чистоты; она уподобляет их малым детям. И это до того верно, что я, в возрасте 66 лет, простояв перед картиной три часа, вдруг почувствовал себя грудным младенцем. В то время, как кэб мчал меня по Трафальгар-скверу, я помахивал футляром от очков как погремушкой, смеялся и лопоча невнятные слова. А когда горничная в моем пансионе подала мне обед, я стал вливать себе ложкой суп в ухо, с наивностью маленького ребенка».

«Вот по каким результатам, — прибавляет Мак Силли, — можно удостовериться в высоких качествах художественного произведения».

Маргаритоне, по словам Вазари, умер семидесяти семи лет и жалел, что дожил до появления нового искусства и до славы новых художников. Эти строчки, которые я перевожу дословно, внушили сэру Джемсу Текету, быть может, самые нежные страницы из всего, что он написал. Они

вошли в его «Настольную книгу эстетов», и все прерафаэлиты знают их наизусть. Я включаю их в мою книгу, как драгоценнейшее ее украшение. По общему мнению, это самые вдохновенные страницы, написанные со времени библейских пророков.

Видение Маргаритоне.

Маргаритоне, обремененный годами и трудами, посетил однажды мастерскую молодого художника, недавно поселившегося в городе. Он увидел там Мадонну, только что написанную, очень строгую и неподвижную; но, вместе с тем, благодаря особой точности пропорций и почти дьявольскому сочетанию света и теней, она поражала своей выпуклостью и казалась совсем живой. Вид этой картины открыл наивному и божественному мастеру из Арrezzo весь ужас живописи грядущих веков.

Он закрыл лицо руками.

— Сколько позора,—воскликнул он,—предвижу я, глядя на эту картину! Я вижу в ней конец христианской живописи, которая изображает души и будит пламенное влечение к небу. Живописцы будущих времен не ограничатся приблизительным изображением где-нибудь на стене или на куске дерева проклятой плоти, из которой созданы наши тела. Они ее превознесут и прославят. Они облакут свои создания в пагубные телесные образы. Изображенные ими святые будут казаться живыми. У них будут тела; их формы будут просвечивать сквозь одежды. У святой Магдалины будут груди, у святой Марты—живот, у святой Варвары—бедра, у святой Агнесы—ягодицы (buttocks). Святой Севастьян обнажит свою юношескую прелесть и святой Георгий выставит на показ развитые мускулы крепкого, возмужалого тела. Апостолы, исповедники, доктора и Бог-Отец будут представлены веселыми гуляками, подобными нам с вами. Ангелы будут волновать сердца своей двусмысленной двойственной красотой. Разве подобные образы смогут будить тяготение к небу? Нет, они научат любить формы земной жизни. Где останутся живописцы в своих нескромных исканиях? Они совсем не будут останавливаться. Они дойдут до того,

что станут изображать мужчин и женщин голыми, как римские идолы. Будет существовать искусство мирское и искусство священное, но священное искусство будет не менее мирским, чем другое.

— Прочь от меня, сатана!—воскликнул старый художник, увидя в пророческом видении праведников и святых, уподобившихся меланхолическим атлетам. Он увидел Аполлонов, играющих на скрипке на покрытой цветами горной вершине, среди муз в легких туниках; он увидел Венер, лежащих под темными миртами, и Данаю, выставяющих под золотой дождь свои прелестные бедра; он увидел Иисусов под колоннадами, среди патрициев, светловолосых дам, музыкантов, пажей, негров, собак и попугаев; он увидел среди нагроможденных в диком беспорядке человеческих членов, распростертых крыльев и развевающихся тканей бурные сцены Рождества Христова, пышные Святые Семейства, напыщенные Голгофы; он увидел святые Катерины, святые Варвары, святые Агнесы, затмевающие патрицианок богатством своих бархатных одежд, своей парчи, своего жемчуга и пышностью груди; он увидел Аврор, рассыпающих розы, и множество Диан и нимф, застигнутых голыми на берегу тенистых источников. И великий Маргаритоне умер, убитый горестным предчувствием Возрождения и Бодонской школы.

Глава VI.

Марбод.

Сохранился драгоценный памятник пингвинской литературы XV века. Этот рассказ о путешествии в ад, предпринятом монахом Марбодом бенедиктинского ордена, пламенным поклонником поэта Виргилия. Рассказ этот, написанный довольно хорошей латынью, издан Дюкло де-Люнем. Я даю первый его перевод на французский язык, думая, что окажу услугу моим соотечественникам, познакомя их с произведением, которое было не единственным в своем роде в латинской литературе средних веков. Из других повествований, подоб-

ных этому, можно назвать «Путешествие святого Брендана», «Видение Альберика», «Чистилище святого Патрика», вымышленные описания предполагаемого жилища мертвых, вроде «Божественной Комедии» Данте Гиацинта.

Нисхождение Марбода в ад.

В тысяча четыреста пятьдесят третьем году от воплощения Сына Божия, за несколько дней до вступления врагов креста в город Елены и Великого Константина, мне, Марбоду, недостойному монаху, дано было видеть и слышать то, чего еще никто не видал и не слыхал. Я составил точное описание всего мною виденного для того, чтобы память об этом не исчезла вместе со мной, ибо время человека кратко.

В первый день мая названного года, во время вечерни в Корриганском аббатстве, сидя на камне вблизи колодца, обвитого шиповником, я читал, по обыкновению, стихи любимейшего моего поэта Вергилия, воспевшего полевые труды, пастухов и вождей. Вечер спускал багряные покровы на монастырские своды, и я шептал взволнованным голосом стихи, в которых говорится, как финикийка Дидона влчила под миртами преисподней свою еще незажившую рану. В эту минуту прошел мимо меня брат Гиларий в сопровождении привратника брата Гиацинта.

Брат Гиларий получил воспитание в варварский век, до возрождения муз, и не был посвящен в античную мудрость. Но все же, поэзия мантуанца, как факел, бросала некоторый свет в его разум.

— Брат Марбод,—спросил он,—стихи, которые вы читаете с вздымающейся грудью и сверкающими глазами, они из великой «Энеиды», с которой вы не сводите глаз по целым дням?

Я ответил ему, что читаю в поэме Вергилия, как сын Анхиза увидел Дидону, подобную луне, из-за листьев *).

*) Текст гласит:

...qualem primo qui surgere mense

Aut vider aut vidisse putat per nubila lunam.

Брат Марбод заменяет по странной рассеянности образ, созданный поэтом совершенно другим.

— Брат Марбод,—ответил он,—я уверен, что Вергилий высказывает при всяком случае мудрые и глубокие мысли. Но песни, которые он пел на сиракузской флейте, полны столь прекрасного чувства и такого высокого учения, что становишься ослепленным.

— Берегитесь, отец,—воскликнул с волнением брат Гиацинт,—Вергилий был волшебник, творивший чудеса с помощью демонов. Так, он пробил гору около Неаполя и сделал бронзового коня, который имел силу исцелять всех больных лошадей. Он был чернокнижник, и теперь еще показывают в одном итальянском городе зеркало, в котором он приказывал появляться мертвым. И все-таки женщина обманула этого великого чудесника. Одна неаполитанская куртизанка из своего окна предложила ему подняться к ней в корзинке, в которой доставляли снизу провизию, и оставила его на всю ночь висеть между двумя этажами.

— Вергилий пророк,—возразил брат Гиларий, словно не слушая слов Гиацинта.—Своими пророчествами он превзошел сивилл с их священными песнями и дочь Приама и великого прорицателя грядущих времен Платона Афинского. В четвертой сиракузской песне Вергилия рождение Спасителя предсказано словами, которые кажутся скорее небесными, нежели земными. В дни моего учения, когда я в первый раз прочел „*Jam redit et virgo*“, я почувствовал бесконечное блаженство. Но вместе с тем мною овладела глубокая печаль при мысли, что, навсегда лишенный лицезрения Господа, автор этой пророческой песни, прекраснейшей из всех, когда-либо вылившейся из уст человеческих, томится с язычниками в вечном мраке. Эта жестокая мысль не покидала меня более. Она преследовала меня даже в моих трудах, молитвах, размышлениях и подвигах воздержания. Думая о том, что Вергилий лишен лицезрения Господа и что, быть может, он претерпевает в аду судьбу обреченных на вечные муки, я не мог вкушать ни радости, ни покоя и по несколько раз в день восклицал, простирая руки к небу: «Открой мне, Господи, судьбу того, кто пел на земле, как ангелы поют на небесах!» Тревога моя улеглась через несколько лет, когда я прочел

в одной старинной книге, что великий апостол, призвавший язычников в церковь Христову, святой Павел, отправившись в Неаполь, освятил своими слезами гробницу величайшего из поэтов *). Это дало мне надежду, что Virgilius, как император Траян, был допущен в рай за то, что среди заблуждения предчувствовал истину. Верить в это не обязательно, но мне было сладко убеждать себя в этом.

Сказав это, старец Гиларий пожелал мне спокойной ночи и удалился вместе с братом Гиацинтом.

Я принялся снова за усойтельное изучение моего поэта.

В то время, как с книгой в руках, я размышлял о тех, которые, сраженные жестокой мукой любви, бродят по скрытым дорожкам в глубине миртовой рощи, отблеск звезд, дрожа, смешался с лепестками шиповника, упавшими в монастырский колодец. Вдруг исчез свет, благоухание и мир небосклона. Чудовищный Борей, полный мрака и бури, подхватил меня с воем и понес как соломинку над полями, городами, реками и торами, через гремящие тучи, среди мрака, длившегося множество дней и ночей. И когда после непрерывной, жестокой ярости уратан, наконец, утих, я очутился вдали от моей родины, в глубокой долине, окруженной кипарисами. Там ко мне приблизилась женщина с суровым, прекрасным лицом, влача за собой длинные одежды. Она положила мне левую руку на плечо и, подняв правую к дубу с густой листвою, сказала:

— Взгляни!

Я тотчас узнал Сивиллу, охраняющую священный Авернский лес, и среди густых листьев дерева, на которое она указала мне пальцем, я различил золотую ветку, приятную прекрасной Прозерпине.

— Пророческая дева!—воскликнул я, поднявшись.— Ты утадала мое желание и удовлетворила его. Ты пока-

*) За триста лет до времени, когда жил наш Марбод, в перквах на Рождестве пели:

Ad Maronis mausoleum
Ductus, fudit super eum
Piae roren lacrymae,
Quem te, inquit, raddidissem
Si te vivum invenissem
Poetarum maxime!

зала мне дерево с сверкающей веткой, без которой никто не может войти живым в жилище мертвых. А, правда, что я пламенно желаю беседовать с тенью Virgilius.

Сказав это, я сорвал с древнего ствола золотую ветвь и бесстрашно кинулся в дымящуюся бездну, которая ведет к илистым берегам Стикса, где тени кружатся, как опадающие листья. При виде ветки, посвященной Провершине, Харон принял меня в свою ладью, которая застонала под моей тяжестью, и я причалил к берегу мертвых, встреченный молчаливым лаем тройного Цербера. Я притворился, что бросаю в него тенью камня, и пустое чудовище убежало в свою пещеру.

Там, среди тростников, кричат дети, глаза которых открылись и в то же время закрылись для радостного дневного света; там, в глубине мрачной пещеры, Минос судит смертных. Я проник в миртовую рощу, где томно бродят жертвы любви—Федра, Прокрида, печальная Эрифила, Эвадна, Пизифая, Лаодамия, Сеня и финикиянка Дидона; потом я прошел пыльные поля, отведенные знаменитым воинам. За этим полем идут две дороги: влево ведет в преисподнюю, жилище нечестивых. Я направился по правой, ведущей в Елисейские Поля и к жилищам Дианы. Повесив священную ветвь у дверей богини, я достиг милых лужаек, облитых пурпуровым светом. Тени философов и поэтов важно вели там беседы. Грации и музы вели по траве, легкие хоры. Старец Гомер пел, аккомпанируя на своей сельской лире. Его глаза были закрыты, но на устах сверкали божественные образы. Я увидел Солона, Демокрита и Пифагора. Они созерцали игры юношей на лугу. И я заметил сквозь листву древнего лавра Гезиода, Орфея, меланхолического Эврипида и мужественную Сафо. Я прошел дальше и узнал на берегу прохладного ручья поэта Горация, Вария, Галла и Ликориса. Немного в стороне Virgilius, прислонившись к стволу темного падуба, задумчиво глядел на лес. Высокий и стройный, он сохранил смутный цвет лица, небрежную внешность и деревенский вид, под которым при жизни таился его гений. Я благоговейно поклонился ему и долго не мог выговорить ни слова. Наконец, когда из сдавленного горла мог выйти звук, я произнес:

— О, Вергилий, любимец муз Авзонских, слава латинского имени,—воскликнул я,—через тебя я познал пищу богов и ложе богинь. Прими хвалу смиреннейшего из твоих почитателей.

— Поднимись, чужеземец,—ответил мне божественный поэт.—Я вижу, что ты живой, по тени, которую отбрасывает твое тело на траве в этом вечном вечере. Ты не первый из смертных сошел при жизни в это жилище, хотя всякое общение между нами и живыми затруднительно. Но перестань восхвалять меня; я не люблю похвал; смутный гул славы был всегда оскорбителен для моего слуха. Вот почему, бежав из Рима, где меня знали праздные и любопытные люди, я работал в уединении моей любезной Партенопей. И затем, я не могу принять твоих похвал, так как не уверен, что люди твоего века понимают мои стихи. Кто ты?

— Мое имя Марбод, и я родом из Альки. Я монах Корританского монастыря. Я читаю твои стихи днем и читаю их ночью. Я спустился в ад только для того, чтобы повидать тебя, я горел нетерпением узнать, какая судьба постигла тебя. На земле ученые часто спорят об этом. Одни считают весьма вероятным, что, живши под властью демонов, ты теперь горишь в неугасимом огне; другие, более благоразумные, не высказывают своего мнения, считая, что все, что говорится о мертвых, неопределенно и лживо. Многие, правда, не самые искусные, утверждают, что так как ты прославил сицилийских муз и предвозвестил сошествие нового небесного отпрыска, то допущен, как император Траян, в христианский рай вкушать вечное блаженство.

— Ты видишь, что ничего этого нет,—с улыбкой ответила тень.

— Действительно, Вергилий, я встречаю тебя среди героев и мудрецов в тобою же описанных Елисейских Полях. Так вначит в противоположность тому, что думают многие на земле, никто не явился за тобой от имени Того, Кто дарит в небесах.

После довольно долгого молчания Вергилий снова заговорил:

— Я ничего не скрою от тебя,—Он за мною присы-

лад; один из Его вестников, простой человек, пришел сказать мне, что меня там ждут, и что хотя я не посвящен в их таинства, но в награду за мои пророческие песни, мне уделено место среди приверженцев новой секты. Но я отказался принять это приглашение; у меня не было желания менять место. Не потому, что я разделяю любовь греков к Елисейским Полям и что мне милы радости, из-за которых Прозерпина потеряла память о своей матери. Я никогда слишком не верил сам в то, что говорил об этом в моей «Энеиде». Воспитанный философами и физиками, я точно предчувствовал истину. Жизнь в преисподней очень ограничена; тут не чувствуешь ни радости, ни горя—существуешь, словно не существуешь. Мертвые обладают лишь той жизнью, какую приписывают им живые. И все же я предпочел остаться здесь.

— Но какими причинами ты объяснил, Вергилий, столь странный отказ?

— Вполне убедительными. Я сказал Божескому посланному, что не заслуживаю чести, которую он мне предлагает, и что моим песням приписывают смысл, которого в них нет. В действительности, в четвертой эклоге я не отступал от веры своих предков. Только невежественные евреи могли истолковать в пользу варварского бога песню, воспевавшую возвращение золотого века, предсказанного сивиллинскими оракулами. Поэтому я извинился, что не могу занять место, предложенное мне по ошибке и на которое я не признаю за собой никакого права. Кроме того, я указал на мои вкусы и привычки, не подходящие к правам новых небес. Я не лишен общительности,—сказал я этому человеку,—и проявил в жизни кроткий и обходительный характер. Хотя чрезвычайная простота моих привычек навлекла на меня подозрение в скупости, я не берег ничего для себя самого. Библиотека моя была открыта для всех, и я сообразовал свое поведение с прекрасными словами Эврипида: «Все должно быть общим между друвьями». Но хвалы, которые я ненавижу для себя, доставляли мне удовольствие, когда они обращены были к Варию или Матеру. Но, в сущности, я деревенский дикарь и люблю общество животных. Я столько наблюдал за ними и так заботился о них, что ме-

на считали не без некоторого основания отличным ветеринаром. Мне говорили, что люди вашей секты приписывают себе бессмертную душу и отрицают ее у животных; это нелепость, которая возбуждает во мне сомнения в их здравомыслии. Я люблю стада и, быть может, слишком люблю пастухов. У вас это вызвало бы осуждение. Я старался подчинять свои действия правилу: ничего лишнего. Не только мое слабое здоровье, но еще более моя философия научила меня пользоваться всем умеренно. Я воздержен в пище; салат, несколько маслин и капля фалернского вина составляли всю мою трапезу. Я умеренно посещал ложе чужеземных женщин и не засиживался подолгу в таверне, где танцевала под звуки кастаньет молодая сириянка *). Однако, я сдерживал свои желания только по собственной воле и в силу хорошей дисциплины: бояться наслаждений и бежать сладострастия казалось бы мне величайшим оскорблением, которое можно было бы нанести природе. Меня уверяют, что некоторые избранники твоего бога воздерживались при жизни от пищи и избегали женщин из любви к лишениям, и что они добровольно подвергали себя ненужным страданиям. Я не желал бы встретиться с этими преступниками, безумие которых возбуждает во мне ужас. Нельзя требовать от поэта, чтобы он слишком строго придерживался какого-нибудь физического и нравственного учения. К тому же я римлянин, а римляне не умеют, как греки, тонко вести глубокие отвлеченности; если они принимают какое-нибудь философское учение, то, главным образом, ради его практических выгод. Сирон, который пользовался среди нас высокой славой, научил меня учению Эпикура и тем самым освободил мою душу от пустых страхов и отвратил от жестокостей, которые религия внушает невежественным людям. От Зенона я научился стойко выносить неизбежные страдания. Я усвоил себе учение Пифагора о душах людей и животных одинакового божественного происхождения, что побуждает нас смотреть на себя без стыда и без гордости. Я узнал от александрийцев, как земля, мягкая и тягучая вначале, по-

*) Эта фраза, повидимому, говорит за то, что, если верить Марбоду, «Сора» написана Virgiliem.

степенно твердела по мере того, как Нерей покидал ее, роя для себя влажные жилища; узнал, как все незаметно сформировалось, каким образом дожди, падая из рассеивающихся туч, питают молчаливые леса, и путем какого совершенствования первые животные вывелись по еще безыменным горам. Я не смог бы привыкнуть к вашей космогонии, которая более годится для погонщиков верблюдов в сирийских песках, чем для ученика Аристарха Самосского. И чтобы случилось со мной в ваших блаженных жилищах, если бы я не нашел там моих друзей, моих предков, моих учителей и моих богов и если не дано мне было бы видеть священного сына Реи, Венеры с нежной улыбкой матери Энеод, Пана, молодых Дриад, Сильванов и старого Силена, которого Эгль вымазала пурпуром слов. Вот доводы, которые я просил этого простого человека представить преемнику Юпитера.

— И с тех пор, великая тень, к тебе не приходили послы?

— Не приходил никто.

— Чтобы утешиться, Virgilius, в твоём отсутствии, они имели трех поэтов: Коммодиана, Пруденция и Фортуната. Все трое родились в темные дни, когда уже никто не знал больше ни грамматики, ни стихосложения. Скажи мне, однако, мантуанец, к тебе никогда более не являлись от имени Того, на чей зов ты не хотел откликнуться?

— Насколько помнится, никогда.

— Не сказал ли ты мне, что не я первый спустился живым в эти жилища и явился к тебе.

— Ты мне напомнил. Около полутора века тому назад, насколько мне кажется (теням трудно считать дни и года), мой глубокий покой был нарушен странным посетителем. Когда я бродил под бледной листвой на берегах Стикса, я увидел перед собой человеческую фигуру, более темную и плотную, чем жители этих берегов: я понял, что это живой. Он был высокого роста, худой, с орлиным носом, острым подбородком и впалыми щеками; черные глаза его метали искры, красный колпак, увенчанный лавровым венком, сжимал его впалые виски. Кости его торчали сквозь узкую коричневую

одежду, спускавшуюся ему до пят. Он поклонился мне с почтительностью, в которой чувствовалась дикая гордость, и заговорил со мной на еще более неправильном и более непонятном языке, чем язык галлов, которыми божественный Юлий наполнил легионы и курию. Я понял, наконец, что он родился подле Фезулы, в этрусской колонии, основанной Силлой на берегах Арна и процветшей с тех пор, что он достиг высокого положения в своем городе, но, когда возникли кровавые распри между сенатом, всадниками и народом, он принял горячее участие в этой распри и, теперь побежденный, изгнанный, влачил жалкое существование вдали от родины. Он нарисовал мне Италию еще более разодранную расприами и войнами, чем во времена моей молодости, и вздыхающей о пришествии нового Августа. Я пожалел несчастного, вспомнив мои собственные страдания в минувшие времена. В нем кипела смелая душа, и в уме его носились высокие мысли, но, увы, своей грубостью и своим невежеством он свидетельствовал о торжестве варварства. Он не знал ни поэзии, ни наук, ни даже языка греков и не знал никаких древних сказаний о происхождении мира и природе богов. Он с важностью повторял басни, которые в мое время в Риме вызывали бы смех маленьких детей, которых еще даром пускают в баню. Чернь охотно верит в чудовищ. Этрусски вообразили себе поэтому преисподнюю населенную уродливыми демонами, подобными видениям больного. Что эти детские измышления не исчезли у них после стольких веков, объясняется возрастанием невежества и нищеты. Но то, что даже один из их должностных лиц, ум которого возвышался над средним уровнем, разделяет просто народные выдумки и пугается уродливых демонов, которых во времена Порсены изображали на стенах гробниц обитатели этой земли, — это может опечалить даже мудреца. Мой этруск прочел мне стихи, написанные им на новом наречии, которое он называл народным и которое я никак не мог понять. Слух мой был скорее изумлен, чем восхищен, слушая, как он повторял через правильные промежутки по три или четыре раза один и тот же звук, чтобы отметить размер.

Это ухищрение не показалось мне удачным, но, конечно, не мертвым судить о новшествах. Впрочем, не в том беда, что этот житель колонии Силлы, рожденный в несчастные времена, писал стихи, лишенные звучности, и был, если это возможно, столь же плохим поэтом, как Бавий и Мевий. Я сердит на него за более близко касающиеся меня провинности. Поступок его поистине чудовищный, почти невероятный. Вернувшись на землю, он распространял обо мне гнусные выдумки. Он утверждал в нескольких местах своих варварских поэм, что я служил ему проводником в новой преисподней, совершенно мне неизвестной. Он с непонятной дерзостью заявил, что я назвал римских богов живыми и признал истинным богом теперешнего заместителя Юпитера. Друг, когда ты вернешься к милому свету дня и снова увидишь свою родину, опровергни эти гнусные басни. Скажи своему народу, что певец благочестивого Энея никогда не кадил еврейскому богу. Меня уверяют, что могущество его слабеет и что, по верным признакам, можно предвидеть близость его падения. Это известие доставило бы мне некоторое удовольствие, если бы радость существовала в этих жилищах, где не испытывают ни страха, ни желаний.

Он сказал и удалился с прощальным жестом. Я созерцал, как его тень, скользила по асфоделям, не сгибая их стеблей. Я видел, как она становилась все тоньше и неопределеннее, удаляясь от меня; она рассеялась прежде, чем достигла рощи вечно зеленых лавров. Тогда я понял смысл слов: «мертвые обладают только той жизнью, которую приписывают им живые», и задумчиво направился к роговым дверям по бледному лугу.

Я заявляю, что все, что находится в этом рассказе, истина *).

*) В повествовании Марбод одно место заслуживает особого внимания: это то, где корриганский монах описывает Алигьери таким, каким мы его представляем теперь. Миниатюры в одной очень старой рукописи Божественной Комедии, Codex Venetianus, изображают поэта маленьким толстым человеком, в короткой туннике, подобранной на животе. А Виргилия изображали еще на деревянных гравюрах XVI века с бородой мудреца. Трудно было предположить также, что Марбод, или даже Виргилий знали этрусские гробницы в Кьюзи и Корнетто, где действительно есть фрески с изображением страшных и смешных дьяволов, на которых очень похожи дьяволы Оркани. Но все-таки подлинность «Нисхождения Марбод в ад» несомненна. Дюкло де-Люнь очень просто установил ее, и сомневаться в этом значило бы сомневаться в палеографии.

Глава VII.

Знаки на луне.

В то время, когда Пингвиния была еще погружена в невежество и варварство, Жиль Луазелье, францисканский монах, известный своими писаниями под именем Этидия Аукуписа, отдавался с неутомимым рвением изучению литературы и наук. Ночи свои он посвящал математике и музыке, которых он называл божественными сестрами, сладкозвучными дочерьми Числа и Воображения. Он хорошо знал медицину и астрологию. Его подозревали в том, что он занимался магией, и он, кажется, действительно совершал превращения и умел отыскивать спрятанные предметы.

Монахи его монастыря, найдя в его келье греческие книги, которые они не могли прочесть, воображали, что это волшебные книги, и донесли на своего слишком ученого брата, как на колдуна. Этидий Аукупис бежал в Ирландию, где прожил тридцать лет, предаваясь ученым занятиям. Он ездил из монастыря в монастырь, выискивая греческие и латинские рукописи, хранящиеся там, и переписывал их. Он изучал также физику и алхимию. Он приобрел универсальные знания, и в особенности открыл много тайн о животных, растениях и камнях. Однажды его застали запершимся в комнате с женщиной совершенной красоты, которая пела и играла на лютне. Оказалось, что это был автомат, сделанный им самим.

Он часто переезжал Ирландское море, направляясь в Уэльс для осмотра монастырских библиотек. Во время одного из этих переездов, стоя ночью на палубе корабля, он увидел в воде двух осетров, которые плыли рядом. У него был тонкий слух, и он знал рыбий язык.

Он услышал, как один осетр говорил другому:

— Человек, которого с давних пор видели на луне со связкой хвороста на плечах, упал в море.

Второй осетр сказал в свою очередь:

— А теперь в серебряном диске будут видеть двух влюбленных, целующих друг друга в губы.

Несколько лет спустя Этидий Аукупис вернулся на родину и застал там возрождение античной литературы. Наука снова была в почете. Нравы смягчились; люди перестали оскорблять своим презрением нимф, населяющих фонтаны, леса и горы; они помещали в своих садах изображение муз и граций и стали снова, как встарь, воздавать почести богине с амброзийными устами, радости богов и людей. Они примирились с природой, победили ложные страхи и поднимали взоры к небу, не боясь, как в прежнее время, прочесть там знаки гнева и угрозы проклятия.

Увидав это, Этидий Аукупис вспомнил о том, что возвестили ему два осетра в море Эрина.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

НОВЫЕ ВЕКА—ТРИНКО.

Глава I.

Рукенша.

Эгидий Аукупис, пингвинский Эразм, не ошибся. Его время было веком свободной мысли. Но этот великий муж принял за смягчение нравов элегантность гуманистов и не предвидел, к каким последствиям приведет пробуждение умов у пингвинов. Он ввел религиозную реформу; католики стали избивать реформаторов, реформаторы избивали католиков. Таковы были первые результаты свободы совести. Католики одержали верх в Пингвинии. Но дух критики проник и в их умы. Они соединили веру с разумом и говорили, что их цель — очистить религию от суеверий, позорящих ее, так же как впоследствии стали очищать соборы от сапожных перекупных и штопальных ларьков, которые ютились у самых церковных стен. Слово «легенда», означавшее сначала то, что следует читать верующим, стало вскоре обозначать набожные выдумки и детские сказки.

Все святые очень пострадали от такого направления умов. В особенности один каноник, очень ученый, очень строгий и очень суровый, некий Принсето, указал на огромное количество святых, не заслуживающих того, чтобы в день их памяти прекращать работу. За такую строгость его прозвали сыщиком святых. Он не верил, что молитва святой Маргариты, приложенная как припарка на живот рожениц, облегчит им роды.

Почтенная заступница Пингвинии не избежала его строгой критики. Вот что он говорит о ней в своей «Древности Альки».

«Весьма недостоверна история и самое существование святой Орберозы. Один старый анонимный летописец, монах из Домб, рассказывает, что некая женщина по имени Орбероза отдалась дьяволу в пещере, куда еще при жизни этого летописца деревенские мальчики и девочки приходили играть в дьявола и прекрасную Орберозу. Он прибавляет, что эта женщина сделалась наложницей страшного дракона, опустошавшего страну. Это почти невероятно, да и история Орберозы, в том виде, как она передается с тех пор, не более достоверна.

«Жизнь этой святой, написанная аббатом Симплициссимом, составлена была через триста лет после предполагаемых событий, изложенных в ней. Автор проявляет в этом жизнеописании чрезмерную легковёрность и полное отсутствие критики».

Сомнение коснулось даже чудесного происхождения пингвинов. Историк Овидий Капито дошел до того, что стал отрицать чудо их преобразования. Вот что он говорит в начале своей «Пингвинской Летописи»:

«Густой мрак покрывает эту историю, и можно сказать без преувеличения, что она соткана из детских басен и просто народных сказок. Пингвины будто бы происходят от птиц, крещеных святым Маэлем и обращенных Богом в людей представтельством славного апостола. По древнему преданию, остров пингвинов, плававший раньше среди Ледовитого океана, как Делос, приплыл в море, и теперь царит на нем, любимый небом. Я предполагаю, что этот миф относится к переселениям пингвинов в древние времена».

В следующем веке, который был веком философов, скептицизм еще более обострился. Я привожу в доказательство только следующее знаменитое место из «Опыта о Нравственности»:

«Явившись неизвестно откуда (происхождение их очень туманное), разоренные и побежденные поочередно четырьмя или пятью народами юга, запада, востока и севера, скрестившись, слившись, соединившись, перемешавшись со

всеми ими, пингвины превозносят чистоту своей расы; и они правы, так как, действительно, они сделались очень чистой расой. Эта смесь всех племен, красного, черного, желтого, белого, круглых и удлинённых голов образовала с течением веков человеческую семью довольно определенного типа с характерными чертами, созданными общностью жизни и привычек.

«Сознание принадлежности к самой прекрасной расе в мире и сознание того, что они самая прекрасная семья этой расы, внушает им благородную гордость, непреодолимую храбрость и ненависть ко всем людям.

«Жизнь всякого народа—чередование бедствий, преступлений и безумств. Это подтверждается на пингвинах, как и на всех других нациях. Но все же история пингвинов изумительна с начала до конца».

Два классических века в истории пингвинов слишком известны, чтобы стоило много говорить о них. Но до сих пор недостаточно обращено внимания на то, что богословы-рационалисты, в роде каноника Принсето, породили скептиков следующего века. Первые разрушали во имя разума то, что им казалось несущественным в религии. Они оставили неприкосновенными только основные догматы веры. Их преемники, научившись от них пользоваться знанием и разумом, воспользовались и тем и другим для уничтожения всего, что осталось от прежних верований; рационалистическое богословие создало натуральную философию.

Вот почему (если мне разрешат перейти от древних пингвинов к главе о современной католической церкви) так изумительна мудрость папы Пия X, который осуждает всякие толкования Писания, считая их враждебными откровению истины, пагубными для богословской науки и убийственными для веры.

В конце века просвещения старый образ правления Пингвинии был совершенно разрушен; казнили короля, отменили привилегии аристократов, и республика была провозглашена среди смут, под угрозой страшной войны. Собрание, управлявшее тогда Пингвинией, приказало отдать в сплав все металлические изделия, имеющиеся в церквях. Патриоты не щадили могил королей. Рассказы-

вают, что когда раскрыли гробницу,—Дракон Великий представился черным, как черное дерево, таким величественным, что святотатцы в ужасе убежали. По другим свидетельствам, эти грубые люди вставили ему в рот трубку и предложили ему для шутки стакан вина.

На семнадцатый день месяца цветов рака святой Орбелозы, которая в течение пяти веков стояла в церкви святого Маэля и окружена была почетом всего народа, перенесена была в ратушу и подвергнута исследованию экспертов, выбранных общиной. Она была из позолоченной меди, в форме корабля, вся покрыта эмалью и украшена драгоценностями, которые были признаны за поддельные. Соборный причт из предусмотрительности вынул рубины, сапфиры, изумруды и большие шары горного хрусталя и заменил все это кусками стекла. Внутри была только горсть пыли, да старые тряпки, которые были брошены в большой костер, зажженный на городской площади для уничтожения святых реликвий. Народ плясал вокруг костра и пел патриотические песни. С порога своей лавченки, прислоненной к ратуше, Рукен и Рукенша смотрели на эту пляску обезумевшей толпы. Рукен стриг собак и холостил котом; он был частым посетителем кабаков. Рукенша плела сидения для стульев и занималась сводничеством; была женщина не глупая.

— Посмотри, Рукен,—сказала она мужу.—Они совершают святотатство и раскаются в этом.

— Ничего ты не понимаешь, жена, — ответил Рукен. — Они сделались философами; а когда становишься философом, то уж на всю жизнь.

— Говорю тебе, Рукен, что они рано или поздно раскаются в том, что теперь делают. Они глумятся над святыми, потому что те недостаточно им помогали. Но все равно рябчики не будут падать им жареными в рот. Они будут такими же бедняками, какими были, и когда придется очень плохо, они опять примутся за Бога. Наступит день, и даже гораздо раньше, чем думают, когда в Пингвинии снова начнут чтить свою небесную заступницу. И знаешь ли, Рукен, следовало бы припрятать к тому времени где-нибудь в старом горшке горсточку

пепла, несколько костей и тряпок. Мы скажем, что это останки святой Орберозы, спасенные от огня с опасностью для жизни. Может быть, я ошибаюсь, но мне думается, что мы обретем этим в будущем почет и деньги. За такое доброе дело, может быть, священник разрешит нам в старости продавать свечи и давать стулья на прокат в часовне святой Орберозы.

В этот же день Рукенша взяла из своего очага немножко золы и несколько обглоданных костей, положила все это в старую банку от варенья я поставила в шкаф.

Глава II.

Тринко.

Народное правительство отобрало земли у дворян и духовенства, чтобы продать их за бесценок буржуазии и крестьянам. Буржуазия и крестьяне решили, что революция очень удобна для приобретения земель, но не годится для сохранения их.

Законодатели республики издали грозные законы для защиты собственности и угрожали смертью всякому, кто предложил бы раздел имущества. Но это не послужило на пользу республики. Крестьяне, сделавшись собственниками, поняли, что республика, обогатив их, тем самым поколебала устойчивость богатств, и желали водворения другого образа правления, которое относилось бы с большим уважением к частной собственности и могло бы обеспечить твердость новых установлений.

Ждать им пришлось недолго. Республика, как Агриппина, сама родила своего убийцу.

Вынужденная вести большие войны, она создала военную силу, которая должна была бы спасти и погубить. Законодатели думали, что смогут обуздывать генералов страхом наказаний. Но если они иногда и рубили головы солдатам, терпевшим поражения, то не могли казнить победителей, которые, спасая республику, приобретали власть над нею.

Опьяненные радостью побед, пингвины подпали под власть более страшного дракона, чем дракон их старых

поверий. Новый дракон, на подобие аиста среди лягушек, пожирал их в течение четырнадцати лет своим ненасытным клювом.

Полвека после царствования нового дракона один молодой малайский матараджа, по имени Джамби, решил пополнить свое образование путешествиями, как скиф Анахарзис. Он посетил Пингвинию и оставил интересное описание своего пребывания там. Вот первая страница оттуда:

Путешествие молодого Джамби по Пингвинии.

После девяноста дней плавания я достиг широкого и пустынного порта воинственных пингвинов и по невозданным полям прибыл в столицу, от которой остались одни развалины. Окруженная валами, переполненными казармами и арсеналами, она имела воинственный и разоренный вид. На улицах жалкие, искалеченные люди носили с гордостью старые мундиры и ржавое оружие.

— Что вам нужно? — сердито спросил меня у городских ворот солдат, усы которого грозно поднимались к небу.

— Я приехал из любознательности осмотреть этот остров, — ответил я.

— Это не остров, — возразил солдат.

— Как, — воскликнул я, — остров пингвинов не остров?

— Нет, это островок. В прежнее время его называли островом, но вот уже целых сто лет, как он декретом переименован в островок. Это единственный островок во вселенной. У вас есть паспорт?

— Вот он.

— Пойдите визировать его в министерство внешних отношений.

Хромой проводник, указывавший мне дорогу, остановился на широкой площади.

— Островок этот, — сказал он, — как вам вероятно известно, родина величайшего гения на свете, Тринко. Вот его статуя перед вами; этот обелиск, стоящий на-

право от вас, водвигнут в память рождения Тринко; наверху колонны, которая высится слева, представлен Тринко в короне. Вы видите отсюда триумфальную арку, воздвигнутую во славу Тринко и его семейства.

— Чем же этот Тринко так прославился?—спросил я.

— Войнами.

— В этом я не вижу ничего чрезвычайного. Мы, майайцы, постоянно ведем войны.

— Может быть, но Тринко величайший воин всех стран и всех времен. Никогда не существовало такого великого завоевателя, как он. В'езжая в наш порт, вы, наверное, видели на востоке конусообразный вулканический остров небольших размеров, но знаменитый своими винами, Ампелофор, а на западе большей остров, поднимающийся к небу длинный ряд острых зубцов. Он так и называется Собачья челюсть. Остров этот богат медными рудниками. Оба эти острова принадлежали нам; до царствования Тринко они составляли границу наших владений. Тринко распространил владычество пингвинов на Бирюзовый Архипелаг и Зеленый Материк, покорил мрачных морских свинок, водрузил свои знамена на полярных льдах и в горячих песках африканской пустыни. Он набирал войска во всех покоренных странах, и когда его армии проходили парадом, то вслед за нашими стрелками, нашими гренадерами, гусарами и драгунами и нашей артиллерией шли желтые воины в синих мундирах, похожие на раков, стоящих на хвостах. Шли краснокожие, украшенные перьями попугаев, татуированные знаками солнца и детородия, за спиной у них звякали колчаны с отравленными стрелами; шли чернокожие, совершенно голые, вооруженные только зубами и ногтями; пигмеи верхом на журавлях, гориллы, опиравшиеся на ствол дерева, под предводительством старого самца, носившего на волосатой груди крест почетного легиона. И все эти войска, воодушевленные под знаменами Тринко пламенным патриотизмом, одерживали победы за победами. В течение тридцати лет непрерывных войн Тринко победил половину известного мира.

— Вот как,—воскликнул я.—Вы владеете половиной мира!

— Тринко покорил ее нам, он же и затем потерял ее. Столь же великий в своих поражениях, как в победах, он отдал все, что завоевал. У него отняли даже те два острова, которыми мы владели до него, Ампелофор и Собачью челюсть. Он оставил Пингвинию обедневшей и опустевшей. Цвет населения погиб в его войнах. После его падения у нас на родине остались только горбатые да хромые, от которых мы происходим. Но он доставил нам славу.

— Дорого же вам пришлось заплатить за нее!

— Слава никогда не оплачивается слишком дорого!—возразил мой проводник.

Глава III.

Путешествие доктора Обнюбия.

После целого ряда неслыханных злоключений, память о которых большей частью погибла от разрушительной силы времени и плохого стиля историков, пингвины установили самоуправление. Они избрали с'езд или собрание и верили ему право избрать главу государства. Глава государства, избранный из числа обыкновенных пингвинов, не носил на голове ужасного гребня дракона и не пользовался неограниченной властью. Он был сам подчинен национальным законам. Он не носил титула короля, и имя его не сопровождалось числом. Его звали Патюрль, Жанвион, Трюфальдин, Кокаппо, Бредуиль. Эти должностные лица не вели войн. У них не было мундира для этого.

Новый государственный строй получил название Общественного Дела или Республики. Приверженцев его называли республиканцами или республиканцами. Кроме того, их называли дельцами или иногда плутами, но последнее название считалось оскорбительным. Пингвинская демократия не управлялась сама собою; она подчинялась финансовой олигархии, которая создавала общественное мнение через газеты и держала в своей власти депутатов, министров и президента. Она властно управляла финансами республики и направляла внешнюю политику.

Империи и королевства того времени содержали огромные армии и флоты. Принужденная ради своей безопас-

ности следовать их примеру, Пингвиния погибла под тяжестью военных издержек. Все сожалели, или делали вид, что сожалеют об этой тяжелой обязанности, и все-таки богатые люди, купцы и дельцы, охотно подчинялись ей из патриотизма и потому, что нуждались в солдатах и во флоте для защиты своего имущества и для приобретения новых рынков и новых земель. Крупные фабриканты стояли за постройку судов и пушек в интересах национальной обороны, а также для получения заказов. Среди граждан среднего достатка и свободных профессий одни мирились с таким порядком вещей, думая, что он продолжится навсегда, другие же нетерпеливо ждали перемен и надеялись добиться от всех правительств одновременного разоружения.

Знаменитый профессор Обнюбил принадлежал к числу этих последних.

— Война,—говорил он,—варварское учреждение, которое будет уничтожено развитием культуры. Великие демократии миролюбивы, и дух их вскоре заразит самих самодержцев.

Профессор Обнюбил, который вел в течение шестидесяти лет одинокую затворническую жизнь в лаборатории, куда не проникал шум извне, решил изучить самолично дух народов. Он начал свое изучение с величайшей из демократических республик и отправился в Новую Атлантиду.

После двухнедельного плавания, пароход его вошел ночью в док Титанпорта, где стояли тысячи кораблей. Железный мост, перекинутый через воды, тянулся, сверкая огнями, между двумя набережными, столь отдаленными одна от другой, что профессору Обнюбилу казалось, будто он путешествует по морям Сатурна и видит волшебное кольцо, опоясывавшее планету Старца. Через огромный мост переправляли больше четверти богатств всего мира. Ученый пингвин, сошедши на берег, остановился в отеле в сорок восемь этажей, где вся служба производилась автоматически. Потом он сел в поезд, который повез его в Гигантополис, столицу Новой Атлантиды. В поезде были рестораны, игорные залы, атлетические арены, зала для торговых и финансовых телеграмм, евангелические часовни

и типография большой газеты, которую доктор не мог читать, так как не знал языка новоатлантов. Поезд проезжал мимо больших промышленных городов на берегу огромных рек, фабричный дым которых застилал небо, городов, черных днем, городов, багровых ночью; наполненные криками при солнце и криками во мраке.

— Вот уж этот народ,—подумал доктор,—наверное слишком занят торговлей и промышленностью, чтобы думать о войне. С этой минуты я уверен, что новоатланты придерживаются мирной политики, ибо все экономисты согласны в том, что для развития торговли и промышленности нужен внешний и внутренний мир.

Осматривая Гигантополис, он укреплялся в своем мнении. Люди мчались по улицам так быстро, что опрокидывали все на пути. Обнюбил, сбитый с ног несколько раз, научился приспособляться; после часа прогулки он сам уже сбил с ног одного атланта.

Выйдя на большую площадь, он увидел портик дворца в классическом стиле. Коринфские колонны его возносили на семьдесят метров над пьедесталом капители из цветущих акантовых листьев.

В то время, как он неподвижно глядел, закинув голову, к нему подошел скромный с виду человек и обратился к нему по-пингвински:

— Я вижу по вашему платью, что вы из Пингвинии. Я знаю ваш язык; я присяжный переводчик. Этот дворец—парламент. Теперь как раз происходит совещание депутатов. Хотите попасть на заседание?

Войдя в одну из трибун, доктор взглянул вниз и увидел толпу законодателей, которые сидели в плетеных креслах, положив ноги на пюпитры.

Председатель поднялся и пробормотал, среди полного невнимания присутствующих, следующие предложения, которые переводчик тотчас же передал доктору:

— В виду благоприятного окончания войны, начатой для приобретения монгольских рынков, я предлагаю послать отчеты в финансовую комиссию... Возражений нет? Предложение принято.—В виду благоприятного окончания войны, открывшей рынки Третьей Зеландии, я пред-

лагаю послать отчеты в финансовую комиссию... Возражений нет?.. Предложение принято.

— Что я слышу?—спросил профессор Обнюбиль.— Как вы, промышленная нация, предпринимаете столько войн?

— Конечно,—ответил переводчик;—это промышленные войны. Нации, у которых не развита ни торговля, ни промышленность, не имеют надобности вести войны, а народ, занимающийся крупными делами, вынужден к политике завоеваний. Число наших войн естественно возрастает с ростом нашей производительной деятельности. Как только какая-нибудь отрасль нашей промышленности не находит достаточного сбыта, нужно, чтобы война открыла ей новые рынки. Так, например, в этом году у нас была угольная война, медная война, хлопчатобумажная война. В Третьей Зеландии мы убили две трети населения, чтобы заставить остальных покупать у нас зонтики и подтяжки.

В эту минуту толстый человек, сидевший в центре собрания, поднялся на трибуну.

— Я требую,—сказал он,—объявления войны правительству Изумрудной республики, которая дерзко оспаривает у наших свиной первенство ветчины и колбас на всех мировых рынках.

— Кто этот законодатель?—спросил доктор Обнюбиль.

— Торговец свиньями.

— Никаких возражений?—спросил председатель.—Я ставлю вопрос на голосование.

Война против Изумрудной республики была решена подавляющим большинством поднятием рук.

— Как?—спросил Обнюбиль переводчика.— Вы так быстро и так равнодушно соглашаетесь на новую войну?

— Это война пустячная, которая будет стоить не более восьми миллионов долларов.

— А люди...

— Они уже включены в эти восемь миллионов.

Тогда доктор Обнюбиль охватил голову руками и подумал с горечью:

«Если богатство и культура создают столько же поводов для войны, как бедность и варварство, если безумие и злоба людей неисцелимы, остается сделать одно доброе

дело. Мудрый человек должен собрать достаточное количество динамита, чтобы взорвать нашу планету. Когда она разлетится вдребезги по мировому пространству, то минимальное улучшение все-таки произойдет в мире, и это до- ставит некоторое удовлетворение мировой совести, которой к тому же не существует».

КНИГА ПЯТАЯ.

НОВЫЕ ВЕКА; ШАТИЛЬОН.

Глава I.

Достопочтенные отцы Агарик и Корнемюз.

Всякий образ правления вызывает недовольство. Республика или Общественным Делом прежде всего были недовольны дворяне, лишенные своих прежних привилегий; они обращали взоры, полные сожаления и надежд, к последнему из потомков дракона,—принцу Крюшо, привлекательному молодостью и печальным изгнанием. Недовольны были также мелкие торговцы, которые в силу глубоких экономических законов не могли теперь пропитать себя и думали, что в этом виновата республика, которую прежде они обожали и от которой с каждым днем все более отдалялись.

Финансисты, как христиане, так и евреи, сделались, благодаря своей наглости и жадности, бичем страны, которую они грабили и унижали, и позором государственного строя, который они не стремились ни сохранить, ни уничтожить, так как были уверены, что могут беспрепятственно преследовать свои цели при всяком образе правления. Но все-таки они более всего сочувствовали неограниченной монархии, как наиболее способной бороться с социалистами, их слабыми, но пламенными противниками. Подражая образу жизни аристократов, капиталисты подражали также и их религиозным и политическим взглядам. В особенности их жены, тщеславные и легкомысленные, любили принца и мечтали бывать при дворе.

Но у республики оставались сторонники и защитники. Если ей и нельзя было полагаться на верность своих чиновников, она могла рассчитывать на преданность рабочих, хотя она и не облегчила их нужду. Для защиты республики в дни опасности они выходили толпой из рудников и фабрик и шли длинными рядами—бледные, черные, мрачные. Они готовы были все умереть за нее, она дала им надежду.

В правление Теодора Формоза, в мирном предместье города Альки, жил монах, по имени Агарик, который обучал детей и устраивал браки. Он преподавал в своей школе благочестие, фехтование и верховую езду сыновьям старинных семей знатного происхождения, лишенных теперь своих владений и прав. А когда они достигали совершеннолетия, он находил им жен—молодых девушек из богатой и презираемой касты капиталистов.

Высокий, худой, черный Агарик все время ходил с молитвенником в руках по коридорам школы и аллеям фруктового сада, озабоченный и задумчивый. Он не ограничивал свои попечения об учениках внушением им отвлеченных теорий и механических правил и тем, что он доставлял им потом законных и богатых жен. Он питал политические замыслы и стремился осуществить придуманный им гигантский план. Заветной его мыслью, целью всех его стремлений было свержение республики. Им руководил не личный интерес. Он считал демократию врагом священного сообщества, к которому он принадлежал телом и душой. И все его соотбрать монахи вполне разделяли его взгляды. Республика была в постоянной вражде с общиной монахов и обществом верующих. Конечно, ниспровержение нового образа правления было трудным и опасным делом. Но, во всяком случае, Агарик смог устроить заговор. В те времена духовенство руководило во всем высшими кастами пингвинов, и этот монах имел огромное влияние на аристократию Альки.

Молодежь, воспитанная им, ждала только благоприятной минуты, чтобы выступить против народной власти. Потомки древних не занимались никаким искусством и не вели никаких промышленных дел. Они были

почти все военные и состояли на службе республики. Служа ей, они не любили ее, им было жалко, что уже нет более драконового гребня. И прекрасные еврейки разделяли их сожаление, для того, чтобы их принимали за знатных христианок.

Однажды в июле месяце, проходя по одной улице предместья, выходявшего на пыльные поля, Агарик услышал жалобные крики, раздававшиеся из обросшего мохом колодца, заброшенного садовниками. И почти сейчас же сапожник, живший поблизости, рассказал ему, что какой-то человек в лохмотьях крикнул: да здравствует Общественное Дело! и что проходившие мимо кавалерийские офицеры бросили его в колодец, где вода заходила выше ушей. Агарик охотно придал этому отдельному случаю общее значение. Из того, что этого республиканца бросили в колодец, он вывел заключение, что среди аристократов и военных началось сильное брожение умов, и что, следовательно, пора предпринять решительные действия.

На следующий же день он пошел навестить в конце Конильского леса доброго старика Корнемюз. Он застал монаха в его лаборатории, где он перегонял через куб золотистый ликер.

Корнемюз был маленький толстый человек с румяным лицом и тщательно отполированным черепом. Глаза у него были, как у кролика, с красными зрачками. Он приветливо поздоровался со своим посетителем и предложил ему рюмочку ликера святой Орберозы, который он изготовлял и продажа которого приносила ему огромные богатства.

Агарик жестом отклонил угощение. Потом, стоя прямо на длинных ногах и прижимая к животу свою меланхолическую шляпу, он продолжал молчать.

— Присядьте,—сказал ему Корнемюз.

Агарик сел на хромую табуретку и продолжал молчать.

Тогда конильский монах заговорил первый.

— Как поживают ваши юные ученики?—спросил он.—Достаточно ли они благонамерены?

— Да, я ими очень доволен,—ответил учитель.—

Самое важное в воспитании—это строгость принципов. Нужно здраво мыслить, прежде чем мыслить. Потом уже поздно. Я вижу много утешительного вокруг себя. Но все же мы живем в грустную пору.

— Увы!—вздыхнул Корнемюз.

— Мы переживаем тяжелые дни.

— Дни испытаний.

— И все же, Корнемюз, народ не так испорчен, как кажется.

— Это возможно.

— Народ тяготеет к правительству, которое его разоряет и ничего для него не делает. Каждый день возникают новые скандалы. Республика тонет в позоре. Она потеряна.

— Да услышит вас Бог!

— Какого вы мнения о принце Крюшо, Корнемюз?

— Он милый молодой человек и, смею сказать, достойный потомок царственного рода. Как грустно, что он в столь нежном возрасте претерпевает муки изгнания. Для изгнанника весна лишена цветов, а осень плодов. Принц Крюшо очень благонамерен. Он чтит священников, выполняет обряды нашей веры и потребляет в большом количестве мои изделия.

— Во многих домах, богатых и бедных, ждут его возвращения. Поверьте мне: он вернется.

— Как бы я хотел дожить до того, чтобы бросить мой плащ к его ногам!—проговорил со вздохом Корнемюз.

Убедившись в его сочувственном отношении, Агарик изобразил ему состояние умов, каким оно представлялось ему самому. Он сказал ему, что аристократы и богачи возмущены демократическим образом правления, что армия отказывается переносить дальнейшие унижения, что чиновники готовы предать начальство, что народ недоволен, что смута уже надвигается и что врагов церкви, сторонников республиканского правительства, бросают в колодцы. В заключение он сказал, что пора действовать решительно.

— Мы можем,—воскликнул он,—спасти пингвинский

народ, мы можем освободить его от тирана, освободить его от самого себя и восстановить гребень дракона, восстановить прежний государственный строй, хороший строй, на славу религии и церкви. Мы можем это, если мы хотим этого. Мы владеем большими богатствами и пользуемся тайным влиянием в стране. Через посредство наших пламенных, грозных газет мы общаемся со всем духовенством городов и деревень и передаем им энтузиазм, который в нас поднимает веру, которая нас пожирает. Они, с своей стороны, воспламяют паству. У меня в руках начальство армии. У меня есть связи также с народом. Я управляю, без их ведома, продавцами зонтиков, кабатчиками, приказчиками, газетчиками, женщинами полусвета и полицейскими агентами. У нас больше людей, чем нужно. Чего же еще ждать? Нужно действовать.

— Что вы намерены предпринять?—спросил Корнемюз.

— Составить широкий заговор, свергнуть республику, восстановить Крюшо на престоле Драконидов.

Корнемюз несколько раз облизался, потом сказал елеяно:

— Конечно, восстановление Драконидов желательно, крайне желательно, и я от всей души желаю его. Что касается республики, то вы знаете мое мнение о ней... Но не лучше ли предоставить ее своей судьбе? Пусть она погибнет от собственных пороков, порожденных ее образом правления. Конечно, то, что вы предлагаете, милый Агарик, чрезвычайно благородно. Было бы прекрасно спасти эту великую и несчастную страну и восстановить ее в прежнем величии. Но подумайте: мы прежде всего христиане, а потом уже пингвины. И главное, нужно остерегаться, как бы не запутать религию в политические предприятия.

Агарик быстро воскликнул:

— Не бойтесь, мы будем держать в своих руках все нити заговора, но сами останемся в тени. Нас не увидят.

— Как мух в молоке,—пробормотал конильский монах.

И, обратив на собрата свои тонкие рубиновые зрачки, он сказал:

— Берегитесь, друг мой. Республика, быть может, сильнее, чем кажется. Возможно даже, что мы еще более укрепим ее, если выведем ее из бездейственного спокойствия, в которое она теперь погружена. Злоба ее велика: если мы станем нападать на нее, она будет защищаться. Она издает пока дурные законы, которые нам не вредят. Но если она начнет бояться, то издаст страшные законы против нас. Не следует легкомысленно впутываться в предприятие, от которого мы же и пострадаем. Вы думаете, что теперь представляется удобный случай начать открытую борьбу? Я этого не думаю и скажу вам почему. Теперешний образ правления еще не всем известен и даже, в сущности, никому не известен. Правительство утверждает, что оно представляет собой общее дело. Народ этому верит и пребывает в демократических и республиканских чувствах. Но подождите! Настанет день, когда народ потребует, чтобы общее дело было действительно делом народа. Мне нет надобности говорить вам, до чего такого рода претензии кажутся мне дерзкими, неосновательными и противоречащими политическим идеалам Священного Писания. Но народ предъявит эти претензии, и тогда придет конец современному образу правления. Момент этот скоро наступит, и вот тогда нужно будет действовать в интересах нашей священной корпорации. Подождем. Чего спешить? Никакая опасность не угрожает нам. Жизнь наша вовсе уж не так невыносима. Республика не выказывает нам почтения и покорности; она не оказывает священникам почестей, которые должна была бы оказывать им. Но она не мешает жить. И таково превосходство священнической жизни, что для нас жить значит благоденствовать. Правительство нам враждебно, но женщины почитают нас. Президент Формоз не является на богослужение, но я видел у своих ног его жену и детей. Они скупают мой ликер оптом. У меня нет лучших покупателей, чем они, даже среди аристократии. Нужно сознаться, что нет в

мире страны, более удобной для священников и монахов, чем Пингвиния. В какой другой стране смогли бы мы продавать в таком количестве и по такой дорогой цене наш ярый воск, наш ладан, наши четки, нашу освященную воду и наш ликер святой Орберозы? Какой другой народ платил бы нам, как пингвины, сто золотых за жест руки, за звук нашего голоса, за движение губ? Что касается меня, то я в тысячу раз больше зарабатываю в нашей кроткой, верной и покорной Пингвинии, извлекая эссенции из охапки богородской травы, чем заработал бы, проповедывая, выбиваясь из сил, в течение сорока лет в самых населенных странах Европы и Америки. И говоря по правде, что выиграла бы Пингвиния от того, что полицейский комиссар увел бы меня отсюда и посадил бы на корабль, отплывающий на острова Ночи?

Сказав это, конильский монах поднялся и повел своего гостя под большой навес, где сотни сирот в синих платьях упаковывали бутылки, забивали ящики, наклеивали этикетки. Там раздавался оглушительный стук молотков, к которому присоединялся глухой грохот ящиков, сдвигаемых на рельсы.

— Здесь происходит отправка,—сказал Корнемюз.— Правительство предоставило в мое распоряжение железнодорожный путь, проходящий через лес, и станцию у моих ворот. Я нагружаю каждый день три вагона моими изделиями. Вы видите, что республика не убила веры.

Агарик сделал последнюю попытку вовлечь мудрого настоящика в свое предприятие. Он посулил ему быстрый, несомненный и яркий успех.

— Неужели вы не хотите содействовать этому успеху,—прибавил он,—неужели вы не хотите вернуть вашего короля из изгнания?

— Изгнание легко для тех, которые не рошут,—ответил монах.—Послушайте меня, дорогой Агарик, и откажитесь в настоящее время от своего предприятия. Что касается меня, то я не питаю никаких иллюзий. Я знаю, что ждет меня. Приму ли я участие в вашем начинании или нет, но я поплачусь за него, как и вы.

Отец Агарик распростился со своим другом и вернулся к себе в школу довольный. Так как Корнемюз, рассуждал он, не сможет помешать заговору, то ему важно, чтобы мы восторжествовали, значит, он даст деньги. Агарик не ошибся. Такова, действительно, солидарность между священниками и монахами, что поступки одного из них втягивают в сообщничество всех остальных. В этом и сила их и в то же время их слабость.

Глава II.

Принц Крюшо.

Агарик решил тотчас же отправиться к принцу Крюшо, который удостаивал его своей близостью. Он вышел в сумерки из школы по черному ходу, переодетый торговцем быками, и сел на пароход «Святой Маэль».

На следующий день он прибыл к морским свинкам. В этой именно гостеприимной стране, в замке Читерлинксе, Крюшо ел горький хлеб изгнания.

Агарик встретил его на дороге в автомобиле. Он делал по ста тридцати в час в обществе двух молодых девиц. При виде его монах стал махать своим красным зонтиком, и принц остановил машину.

— Это вы, Агарик? Садитесь к нам. Нас уже трое, но мы потеснимся. Вы возьмете одну из барышень на колени.

Благочестивый Агарик сел.

— Что нового, старина?—спросил молодой принц.

— Важные новости,—ответил Агарик.— Можно говорить?

— Можете. У меня нет тайн от этих барышень.

— Ваше высочество, Пингвиния зовет вас. Внемлите ее зову.

Агарик изобразил состояние умов и изложил план широкого заговора...

— По моему знаку,—сказал он,—все ваши сторонники подымутся сразу. С крестом в руках и подобрав ряды, преданные вам монахи поведут вооруженную толпу

во дворец Формоза. Мы внесем ужас и смерть в ряды ваших врагов. В награду за наше усердие мы просим у вас только одного, ваше высочество,—чтобы труды наши не пропали даром. Мы умоляем вас занять престол, который мы вам приготовим.

Принц ответил просто:

— Я в'еду в Альку на зеленой лошади.

Агарик почтительно выслушал этот мужественный ответ. Хотя, на коленях у него, наперекор привычкам, сидела молодая девица, он все же стал умолять, с душевным подъемом, молодого принца, чтобы тот выполнил свой королевский долг.

— Ваше высочество,—воскликнул он со слезами,—вы вспомните когда-нибудь, что вас вывели из изгнания, вернули вашему народу и водворили на престоле ваших предков преданные вам монахи, и что они венчали вас, возложив на вашу главу священный пребень дракона. Король Крюшо, дай вам Господь сравниться в славе с великим вашим предком, Драконом Великим!

Растроганный молодой принц бросился обнимать воспитателя своих прав. Но он мог добраться до него только через двух девиц—до того было тесно в этой исторической коляске.

— Почтенный отец,—сказал он,—я хотел бы, чтобы вся Пингвиния была свидетельницей нашего об'ятия.

— Это было бы утешительное зрелище,—сказал Агарик.

Тем временем автомобиль неся ураганом по деревням и городкам, давя под своими ненасытными шинами кур, гусей, индюков, уток, цесарок, кошек, собак, поросят, детей, крестьян и крестьянок.

А благочестивый Агарик думал о своих великих предприятиях. Голос его, раздававшийся из-за спины молодой девицы, произнес следующие слова:

— Нужны будут деньги, много денег.

— Это ваше дело,—ответил принц.

Но ворота парка уже раскрылись для огромного автомобиля.

Обед был роскошен. Пили за гребень Дракона. Известно, что закрытый кубок—знак державной власти. По-

этому принц Крюшо и его супруга принцесса Гудруна пили из закрытых, как дароносицы, кубков. Принц несколько раз наполнял свой кубок красным и белым пингвинским вином.

Крюшо получил по истине царское воспитание. Он отлично умел управлять автомобилем, но вместе с тем имел кой-какое понятие об истории. Говорили, что он прекрасно знает все относящееся к древней славе своей семьи. За десертом он, действительно, дал блестящее доказательство своих знаний в этой области. Говорили о различных странностях знаменитых женщин.

— Известно, ведь,—сказал принц,—что королева Крюша, имя которой я ношу, имела маленькую обезьянку головку под пупком.

В этот вечер Агарик имел решающее совещание с тремя старыми советниками принца. Решено было обратиться за деньгами к тестю Крюшо, которому было бы приятно иметь зятем короля, затем к нескольким еврейским дамам, которым хотелось как можно скорее войти в аристократию, и, наконец, к принцу-регенту морских свинок, который обещал свою помощь Драконидам, надеясь, что реставрация Крюшо ослабит пингвинов, наследственных врагов его народа.

Три старых советника разделили между собой три первые придворные должности: шамбелана, сенешала и хлебодара, и разрешили монахам распределить остальные должности по своему усмотрению, соблюдая интересы принца.

— Нужно вознаградить всех за преданность,—сказали три старых советника.

— И за предательство,—прибавил Агарик.

— Совершенно верно,—подтвердил один из них, маркиз де-Сеплэ, опытный в революциях.

Вечером танцовали. После бала принцесса Гудруна разорвала свое зеленое платье и сделала из него кокарды; она пришила собственной рукой лоскуток зеленой материи на грудь монаху, пролившему слезы умиления и благодарности.

Шталмейстер принца, де-Плюм, поехал в тот же вечер разыскивать зеленую лошадь.

Глава III.

Тайное собрание.

Вернувшись в столицу Пингвинии, почтенный отец Агарик открыл свои замыслы принцу Адельстану Босено, зная его приверженность Драконидам.

Принц принадлежал к высшей аристократии. Род Тортиколей Босено восходил к Бриану Благочестивому и занимал при Драконидях высшие должности королевства. В 1179 году Филипп Тортиколь, главный адмирал Пингвинии, храбрый, верный, великодушный, но мстительный, сдал порт Ла-Крик и пингвинский флот врагам королевства только потому, что подозревал королеву Крюша, любовником которой он был, в измене ему с одним конюхом. Эта великая королева и пожаловала роду Босено серебряный таз, изображенный на их гербе. Что касается их девиза, он не старше XVI века; вот его происхождение: во время одного праздника, ночью, герцог Жан Босено, смешавшись с придворными, которые любовались фейерверком, столпившись в королевском саду, приблизился к герцогине Скель и сунул руку под юбку этой дамы, которая нисколько не была этим обижена. Король, проходя случайно мимо них, достиг их врасплох и ограничился тем, что сказал: «Лишь бы сойтись». Эти слова сделались девизом Босено.

Принц Адельстан ни в чем не уступал своим предкам; он сохранил неизменную верность роду Драконидов и ничего так не желал, как восстановления на престоле принца Крюшо, уверенный, что это повело бы за собой восстановление его собственного состояния. Поэтому он отнесся очень сочувственно к планам отца Агарика. Он поспешил познакомить его с самыми пламенными и преданными роялистами среди своих друзей, с графом Клена, с де-ля-Трюмелем, с виконтом Оливом, с Бигуром. Они собрались однажды ночью на даче у герцога Ампуля, в двух милях на запад от Альки, чтобы обсудить пути и средства. Де-ля-Трюмель высказался за законные действия.

— Нужно оставаться в пределах законности,—сказал он.—Мы люди порядка. Неустанная пропаганда—вот средство, которым мы осуществим наши надежды. Нужно изменить настроение умов в стране. Мы восторжествуем, потому что дело наше правое.

Принц Босено выразил противоположное мнение. Он полагал, что для того, чтобы восторжествовать, правое дело столько же нуждается в силе, как и неправое.

— При теперешних обстоятельствах,—спокойно сказал он,—нужно действовать тройным образом: нанять мясников, подкупить министров и убрать президента Формоза.

— Убрать Формоза было бы ошибкой,—возразил де-ля-Трюмель.—Президент с нами.

То, что один из дракофилов предложил устранить президента Формоза, а другой дракофил считал его другом, объясняется поведением и чувствами главы Общественного Дела. Формоз выказывал расположение роялистам, перед которыми он преклонялся и манерам которых он подражал. Если он и улыбался, когда ему говорили о драконовом гробу, то лишь от мысли поместить его на собственную голову. Неограниченная власть привлекала его, но не потому, что он считал себя способным к ней, а потому, что любил внешность. По сильному выражению одного пингвинского хроникера—он был настоящий индюк.

Принц Босено настаивал на своем предложении отправиться с оружием в руках на дворец Формоза и на палату депутатов.

Граф Клена требовал еще более энергичных мер.

— Прежде всего,—сказал он,—задушим, зарежем, выпотрошим республиканцев и всех сторонников правительства. А потом посмотрим.

Де-ля-Трюмель был человек умеренный. Умеренные всегда умеренно защищаются против натиска. Он согласился, что политика графа Клена одушевлена благородными чувствами, но робко возразил, что она, быть может, не вполне соответствует принципам и представляет некоторую опасность. Наконец, он предложил публично обсудить ее.

— Я предполагаю,—прибавил он,—написать воззвание к народу. Объявим, кто мы такие. Что касается меня, то уверяю вас, что я не спрячу свое знамя в карман.

Заговорил Бигур:

— Господа,—сказал он,—пингвины недовольны новым государственным строем, потому что они им пользуются и потому что людям естественно жаловаться на условия, в которых они живут. Но в то же время пингвины боятся менять режим, потому что новизна их пугает. Они не знали драконовского гребня. Если они и говорят иногда, что жалеют о нем, то не следует им верить. Сейчас же выяснилось бы, что они говорили необдуманно и под влиянием дурного расположения духа. Нечего обманываться относительно их чувств к нам. Они нас не любят. Они ненавидят аристократию из чувства низкой зависти и вместе с тем из благородной любви к равенству. Соединение этих двух чувств очень нередко встречается в народе. Общественное мнение не против нас, потому что оно нас не знает. Но когда оно узнает, чего мы хотим, то не пойдет за нами. Если мы дадим заметить, что хотим уничтожить демократический образ правления и восстановить гребень дракона, то кто же будет на нашей стороне? Мясники и мелкие лавочники. И даже на мелких лавочников нельзя рассчитывать до конца. Они недовольны, но они республиканцы в глубине души. Им гораздо важнее продавать свой дурной товар, чем видеть снова на престоле принца Крюшо. Действуя открыто, мы их устроим. Для того, чтобы вызвать сочувствие и приобрести сторонников, нужно всех убедить, что мы хотим не уничтожить республику, а, напротив того, восстановить ее, очистить, возвеличить, украсить, сделать ее прекрасной, пышной и очаровательной. Для этого мы должны действовать через других. Известно, что мы не сочувствуем современному строю. Нужно обратиться к другу республики, еще лучше к защитнику существующего режима. Выбор будет достаточно богат. Нужно будет выбрать наиболее популярного, наиболее, если можно так выразиться, республиканского. Мы подкупим его лестью, подарками и, главным образом, обещаниями. Обещания дешевле подарков и действуют гораздо вернее.

Никогда столько не даешь, как давая надежды. Нет необходимости, чтобы он был умен. Я даже предпочел бы, чтобы он был глуп. Дураки в плутовстве имеют неподражаемую прелесть. Поверьте мне, господа, Общественное Дело может опрокинуть только кто-нибудь из самих дельцов. Будемте осторожны. Осторожность не исключает энергии. Если я вам понадоблюсь, я всегда к вашим услугам.

Слова эти произвели сильное впечатление на слушателей. В особенности они поразили благочестивого Агарика. Но каждый думал, главным образом, о том, чтобы получить почетные и выгодные назначения. Учредили тайное правительство, куда все присутствующие входили действительными членами. Герцог Ампуль, финансовый гений партии, избран был казначеем, и ему поручили сосредоточить в своих руках фонды для пропаганды.

Собрание уже начало было расходиться, как вдруг раздался чей-то грубый голос, который пел на старинный мотив:

Босено кабан огромный,
Наготовим из него
Мы колбас на Рождество
Для всей братии голодной.

Эта песня была известна уже двести лет в предместьях Альки. Принц Босено не любил ее. Он сошел на площадь и, увидав, что эту песню пел рабочий, поправивший черепицы на церковной крыше, вежливо попросил его петь что-нибудь другое.

— Я пою, что мне нравится,—ответил рабочий.

— Друг мой, сделайте мне удовольствие...

— У меня нет никакого желания делать вам удовольствие.

Принц Босено был вообще человек миролюбивый, но очень вспыльчивый и обладал недюжинной силой.

— Негодай,—крикнул он страшным голосом,—сейчас же сойди вниз или я взберусь к тебе!

Кровельщик, сидя верхом на ребре крыши, не трогался с места; тогда принц быстро взобрался наверх по лестнице, которая вела на колокольню, вышел на крышу,

бросился на певца и свалил его, свернув челюсть ударом кулака, вниз в канаву. В эту минуту семь или восемь плотников, работавших на чердаке, испуганные криками товарища, выглянули из слуховых окон и, увидав принца на крыше, побежали к нему, по приставной лестнице, которая нашлась под черепицей. Они добрались до него в ту минуту, когда он спускался в башню, и спустили его вниз головой со ста тридцати семи ступенек витой лестницы.

Глава IV.

Виконтесса Олив.

У пингвинов была первая армия в мире. У морских свинок тоже, также как и у всех других европейских народов. Если хорошенько подумать, то в этом нет ничего удивительного. Все армии первые в мире. Вторая армия в мире, если бы таковая существовала, очутилась бы в слишком невыгодном положении; она была бы уверена, что ее разобьют. Пришлось бы тотчас же ее распустить. Поэтому все армии в мире первые. Отсюда понятно, почему знаменитый французский полковник Маршан, спрошенный перед битвою при Ялу относительно исхода русско-японской войны, не задумался аттестовать и русскую и японскую армии, как первые в мире. Нужно заметить к тому же, что даже, потерпев самые ужасные поражения, армия не теряет своего положения первой в мире, потому что народы всегда приписывают победы таланту своих генералов и мужеству своих солдат. Поражения же непременно объясняются непонятной случайностью. Ранг флота, напротив того, определяется числом судов. Есть флот первого, второго, третьего ранга и т. д. Вот почему исход морских войн всегда известен заранее.

Пингвины имели первую армию и второй флот в мире. Флотом их командовал знаменитый Шатильон, носивший титул эмиральбара или, сокращенно, эмирала. Это же слово, к несчастью искаженное, обозначает и теперь еще высший ранг в морских армиях. Но так как у пин-

гвинов был только один эмирал, то этот ранг пользовался чрезвычайным престижем.

Эмирал не был знатного происхождения: дитя народа, он был любим народом, который гордился, что человек из его среды покрыт таким почетом. Шатильон был красив, счастлив и ни о чем не думал. Ничто не омрачало ясности его взгляда.

Отец Агарик, соглашаясь с доводами Бигура, понял, что современный строй можно разрушить только с помощью защитника этого строя, и обратил свои взоры на эмирала Шатильона. Он пошел к своему другу, отцу Корнемюзу, попросить большую сумму денег, которую тот дал ему со вздохом. На эти деньги отец Агарик нанял шестсот мясников в Альке—бегать следом за конем Шатильона с криком: «Да здравствует эмирал!»

С этих пор Шатильон не мог сделать ни шагу, не вызывая восторженных криков.

Виконтесса Олив попросила его принять ее наедине по делу. Он принял ее в адмиралтействе *), в павильоне, украшенном якорями, молниями и гранатами.

На ней было скромное серовато-синее платье, шляпа с розами украшала ее хорошенькую белокурую голову. Через вуалетку глаза ее сверкали, как сапфиры. Во всем аристократическом обществе не было более изящной женщины, чем виконтесса, дочь еврейского финансиста. Она была высокого роста, стройная. У нее была фигура, вошедшая в моду за последний год, и талия последнего сезона.

— Эмирал,—сказала она прелестным голосом,—я не могу скрыть от вас своего волнения. Оно совершенно естественно... в присутствии героя...

— Вы слишком добры. Будьте любезны сказать, виконтесса, чему я обязан честью вашего посещения.

— Я уже давно хотела видеть вас, говорить с вами... И поэтому я охотно приняла на себя поручение к вам.

— Будьте любезны присесть.

— Как здесь спокойно!

— Действительно, здесь довольно тихо.

*) Или лучше сказать «в эмиралтействе».

— Слышно, как птицы поют.
 — Сядьте же, пожалуйста, виконтесса.
 Он придвинул ей кресло.
 Она взяла стул и села против света.
 — Эмирал,—сказала она,—я пришла к вам с чрезвычайным важным поручением, с поручением...
 — Объясните, пожалуйста.
 — Эмирал, вы никогда не видели принца Крюшо?
 — Никогда.
 Она вздохнула.
 — В этом вся беда. Он был бы так счастлив познакомиться с вами! Он вас ценит и уважает... Ваш портрет стоит у него на письменном столе рядом с портретом его матери. Как жаль, что его не знают! Он очаровательный принц и так благодарен за то, что для него делают. Он будет великим королем. Он будет царствовать, не сомневайтесь. Он вернется, и раньше, чем думают... То, что я пришла вам сказать, миссия, которую мне поручили, и относится именно...

Эмирал поднялся:

— Ни слова более, виконтесса,—сказал он.—Я верю в республику и уважаю ее. Я ей не изменю. И зачем мне изменять ей? Республика осыпает меня почестями.

— Эти почести, дорогой эмирал, далеко не соответствуют вашим заслугам. Если бы вас действительно ценили, вы были бы эмиралиссимусом и генералиссимусом, высшим начальником сухопутных и морских сил. Республика очень неблагодарна относительно вас.

— Все правительства более или менее неблагодарны.

— Конечно; но республиканцы к тому же завистливы к вам. Они боятся всякого превосходства. Они терпеть не могут военных. Все, что касается флота и армии, им ненавистно. Они боятся вас.

— Возможно.

— Они—негодяи. Они губят страну. Неужели вы не хотите спасти Пингвинию?

— Каким образом?

— Смести всех негодяев республиканцев.

— Что вы мне предлагаете, сударыня!

— Сделать то, что наверное будет сделано. Если не

вами, так другим. Генералиссимус, говоря хотя бы только о нем одном, готов утопить всех министров, всех депутатов и всех сенаторов и снова призвать на престол принца Крюшо.

— Гнусный негодяй!—воскликнул эмирал.

— Поступите с ним так, как он поступил бы с вами. Принц сумеет оценить ваши услуги. Он назначит вас конетаблем и даст вам крупное денежное вознаграждение. Мне поручено пока передать вам залог его царственной милости.

С этими словами она вынула из своего корсажа зеленую кокарду.

— Что это такое?—спросил эмирал.

— Крюшо посылает вам свои цвета.

— Прошу вас убрать ваши ленты.

— Чтобы их предложили генералиссимусу, который примет их? Нет, эмирал, позвольте мне прикрепить их к вашей героической груди.

Шатильон мягко отстранил молодую женщину. Уже несколько минут он находил ее очень хорошенькой; и это впечатление усилилось, когда две обнаженные руки и две розовые ладони близко коснулись его. Он почти сейчас же перестал сопротивляться. Олив очень медленно завязывала ленту. Потом, когда это было сделано, она поклонилась Шатильону и, делая глубокий реверанс, приветствовала его саном конетабля.

— Я был честолюбив, как все мои товарищи,—сказал моряк,—и не скрываю этого. Я может быть и теперь честолюбив. Но, честное слово, глядя на вас, у меня только одно желание: хижина и ваше сердце.

Она уронила на него очаровательные лучи сапфиров, сверкавших из-под ее век.

— Можно обрести и это... Что это вы делаете, эмирал?

— Я ищу сердце...

Выйдя из павильона адмиралтейства, виконтесса тотчас же отправилась с отчетом о своем визите к почтенному отцу Агарику.

— Нужно почаще навещать его,—сказал суровый монах.

Глава V.

Принц Босено.

Утром и вечером газеты, оплачиваемые дракофилами, пели хвалы Шатильону и закидывали грязью министров республики.

На бульварах Альки выкрикивали портреты Шатильона. Юные племянники Рема, которые носят на голове гипсовые фигуры, продавали у мостов бюсты Шатильона.

Каждый вечер Шатильон ездил верхом на белом коне по Королевскому лугу, где гуляло светское общество. Дракофилы размещали по пути эмирала множество бедных пингвинов, которые пели: «Шатильона нужно нам». Буржуазия Альки преклонялась перед эмиралом. Все лавочницы шептали: «он красив». Элегантные дамы, сидя в автомобилях, замедлявших ход, посылали ему воздушные поцелуи среди восторженного народа.

Однажды, когда он входил в табачную лавку, два пингвина, которые опускали письма в почтовый ящик, узнали Шатильона и крикнули во весь голос: «Да здравствует эмирал. Долой республику!» Прохожие столпились перед лавкой. Шатильон курил сигару на глазах у густой толпы неистовствующих граждан, которые махали шляпами и оглашали воздух восклицаниями. Толпа все возрастала. Весь город, шествуя за своим героем, проводил его с пением гимнов до адмиралтейского павильона.

У эмирала был старый боевой товарищ, очень заслуженный вице-эмирал Вольканмуль. Чистый, как золото, верный как шпага, Вольканмуль, который гордился своей суровой независимостью, вел знакомство и с дракофилами и с министрами республики, говоря правду в лицо и тем и другим. Бигур зло утверждал, что он говорил одним правду про других. Он, действительно, несколько раз разболтал то, что не следовало, но на это смотрели, как на свободу солдата, далекого от интриг. Он отправлялся каждое утро к Шатильону, с которым вел себя бесцеремонно, как со старым товарищем.

— Ну что, дружище, ты теперь знаменитость,—гово-

рил он ему.—Твою морду продают на трубках и на водочных бутылках, и все пьяницы Альки выплевывают твое имя в канаву. Шатильон герой пингвинов! Шатильон защитник славы и величия пингвинов! Кто бы это подумал? Кто бы этому поверил?

Он пронзительно расхохотался. Потом, другим тоном, спросил:

— Шутки в сторону, ты не удивлен несколько тем, что произошло?

— Ничуть,—ответил Шатильон.

Честный Вольканмуль вышел, хлопнув дверью.

Между тем, Шатильон снял для свиданий с виконтессой Олив маленькую квартиру в первом этаже, в глубине двора, в доме № 18, на улице Иоанна Тальпы. Они видались каждый день. Он ее безумно любил. В течение своей военной и морской жизни он обладал множеством женщин, краснокожих, черных, желтых и белых. Некоторые из них были очень красивы. Но до встречи с виконтессой он не знал, что такое женщина. Когда она называла его своим другом, своим милым другом, ему казалось, что он на небесах, и что звезды касаются его волос.

Она входила, немного запоздав, клала свой сак на круглый столик и говорила с благоговением:

— Позвольте, я сяду тут, у ваших колен.

Она говорила ему то, чему ее учил благочестивый Агарик, прерывая свои слова поцелуями и вздохами. Она просила его удалить такого-то офицера, дать назначение другому, послать эскадру туда-то, и вдруг восклицала:

— Как вы молоды, друг мой!

И он исполнял все ее желанья, потому что он был прост, потому что ему нравилась мысль стать конетатлем и получить богатое вознаграждение, потому что он не прочь был сыграть двойную игру, потому что у него была смутная мысль спасти Пингвинию, потому что он был влюблен. Эта очаровательная женщина заставила его отозвать войска из порта Крик, где должен был высадиться Крюшо. Таким образом, был обеспечен беспрепятственный въезд Крюшо в Пингвинию.

Благочестивый Агарик устраивал общественные со-

брании в интересах агитации. Дракофилы назначали каждый день одно, два или три собрания в одном из тридцати шести округов Альки и преимущественно в простонародных кварталах. Они хотели привлечь на свою сторону низшие классы, составляющие большинство. Очень многолюдное собрание состоялось четвертого мая в здании старой хлебной биржи в центре густо населенного предместья, переполненного хозяйками, сидящими у дверей, и детьми, играющими в канавах. Явилось тысячи две народа, по счету республиканцев, и шесть тысяч—по счету дракофилов. Среди присутствующих находился цвет пингвинского общества, принц и принцесса Босено, граф Клена, де-ля Трюмель, Бигур и несколько богатых еврейских дам.

Генералиссимус национальной армии явился в мундире, и его приветствовали рукоплесканиями.

С трудом организовали бюро. Один рабочий, которого считали благонамеренным, Рошен, секретарь желтых синдикатов, избран был председателем и занял место между графом Клена и Мишо, приказчиком из мясной лавки.

В нескольких красноречивых речах правительство, свободно избранное пингвинами, закидано было всяческой руганью. Пощадили только президента Формоза. О Крюшо и о священниках не было и речи.

После речей допущены были прения, и защитником существующего строя и республики выступил рабочий

— Господа,—сказал председатель Рошен,—мы объявили о том, что прения будут допущены. От своего слова мы не отказываемся. Мы честные люди—не то, что наши противники. Я даю слово оппоненту. Бог весть, что вы теперь услышите! Господа, я прошу вас удержаться, насколько возможно, от выражений вашего презрения и негодования.

— Господа,—начал оппонент...

Возмущенная толпа тотчас же столкнула его с трибуны и повалила на пол. Неузнаваемые останки его выброшены были из залы.

Шум еще не утих, когда на трибуне появился граф Клена. Свистки и ругательства сменились приветствен-

ными кликами, и когда, наконец, водворилось молчание, оратор произнес следующие слова:

— Товарищи, мы увидим, течет ли кровь в ваших жилах. Нужно вадушить, заколоть, выпотрошить республиканцев!

Эта речь вызвала такую бурю рукоплесканий, что старое здание зашаталось, и густая пыль, посыпавшаяся с грязных стен и гнилых балок, покрыла присутствовавших едким и темным облаком.

Стали голосовать порядок дня, осуждающий правительство и приветствующий Шатильона. Присутствующие разошлись с пением гимна:

«Шатильона нужно нам».

Из биржи был один только выход — в длинную, грязную аллею, сдавленную сараем для омнибусов, с одной стороны, и угольными складами, с другой. Ночь была без луны; моросил холодный дождь. Полицейские, предупрежденные о собрании, заняли выход из аллеи на улицу и заставили дракофилов выходить маленькими группами. Такова была, действительно, инструкция, которую они получили от начальства, желавшего, главным образом, предупредить массовый выход на улицу восторженной толпы.

Дракофилы, задержанные в аллее, маршировали, продолжая петь «Шатильона нужно нам». Вскоре, раздраженные медленностью, причины которой они не понимали, они стали толкать стоявших впереди них. Это движение, передававшееся по всей аллее, кинуло вышедших первыми прямо на полицию. Полиция не питала ненависти к дракофилам и в глубине души любила Шатильона. Но всякому человеку естественно давать отпор, когда на него нападают, и противопоставлять насилие насилию. Сильные люди склонны пользоваться своей силой. Вот почему полицейские стали бить дракофилов сапогами, подбитыми железом. Толпа поддалась назад. К пению стали примешиваться крики и угрозы.

— Убийцы, убийцы!.. «Шатильона нужно нам»... Убийцы! Убийцы!

— Не толкайтесь!—кричали самые благоразумные в темной аллее. Среди них, возвышаясь своей высокой фигурой над возбужденной толпой, выставляя среди полуманнх ребер и помятых боков свои широкие плечи и могучую грудь, выделялся в темноте кроткий, спокойный, несокрушимый принц Босено. Он ждал, снисходительный и безмятежный. Тем временем отдельные группы выходили через правильные промежутки времени между рядами полиции, и толкотня уменьшилась вокруг принца. Можно было свободно вздохнуть.

— Вот видите, понемногу мы все выйдем,—сказал добрый великан с мягкой улыбкой,—терпение и время...

Он вынул сигару, поднес ее к губам и зажег спичку. Вдруг, при вспыхнувшем свете, он увидел принцессу Анну, свою жену, в объятиях графа Клена. Он бросился на них и стал колотить палкой их обоих и всех окружающих. Его с трудом обезоружили, но никак не могли оттащить от противника. В то время, как принцесса, потерявшая сознание, переходила из рук в руки среди любопытствующей и взволнованной толпы, пока, наконец, ее не донесли до кареты, оба противника вступили в ожесточенный бой. Принц Босено потерял в драке свою шляпу, монокль, сигару, галстук, бумажник, набитый интимными и политическими письмами; он потерял даже чудотворный образок, полученный им от отца Корнемюза. Но он так сильно ударил в живот своего противника, что несчастный пробил железную решетку и упал головой вперед через стеклянную дверь в угольный склад.

Привлеченные шумом борьбы и криками окружающих, полицейские бросились на принца, который стал из всех сил отбиваться. Трое полицейских очутились на земле почти без дыхания, семеро обратились в бегство с разбитыми челюстями, рассеченными губами, разбитыми носами, из которых кровь текла ручьем, раскроенными черепами, свихнутыми ключицами, разодранными ушами и переломанными ребрами. Все-таки Босено, в конце-концов, свалился, и его потащили, окровавленного, изуродованного, в разорванном в клочья платье в соседний полицейский участок, где он провел ночь, рыча от бешенства.

До самого утра группы манифестантов бегали по городу, пели «Шатильона нужно нам» и разбивали стекла в домах, где жили республиканские министры.

Глава VI.

Падение эмира.

Эта ночь была апогеем дракофильского движения. Монархисты не сомневались более в победе. Их главари посылали принцу Крюшо поздравления по беспроволочному телеграфу. Дамы вышивали ему шарфы и туфли; де-Плюм разыскал зеленую лошадь.

Благочестивый Агарик разделял общие надежды, но все же считал нужным вербовать сторонников претендента.

— Нужно,—говорил он,—проникнуть в самые глубокие слои населения.

С этой целью он завязал сношения с тремя рабочими синдикатами. В то время ремесленники уже не составляли корпорации, как при Дракониадах. Они были свободны, но у них не было обеспеченного заработка. Долгое время они жили врозь, не имея ни в ком опоры и помощи, но потом стали составлять синдикаты. Кассы этих синдикатов были пусты, так как члены не имели обыкновения уплачивать членские взносы. Некоторые синдикаты имели тридцать тысяч членов, другие тысячу, иные пятьсот и даже двести. В некоторых синдикатах было всего два-три члена, а иногда даже несколько меньше. Но так как списки членов не оглашались, то было не легко различать большие синдикаты от малых.

После сложных и темных переговоров, благочестивому Агарика устроили свидание в одной из зал Moulin de la Galette с товарищами Дагобером, Троном и Балафилом, секретарями трех профессиональных синдикатов, из которых первый насчитывал четырнадцать членов, второй двадцать четыре, а третий только одного. Агарик выказал на этом совещании необычайную ловкость.

— Господа,—сказал он,—мы придерживаемся во мно-

гих отношениях разных политических и социальных взглядов. Но кое в чем мы можем действовать сообща. У нас есть один общий враг. Правительство вас эксплуатирует и смеется над вами. Помогите нам свергнуть его. Мы предоставим вам, насколько возможно, средства, и, сверх того, вы можете рассчитывать на нашу благодарность.

— Понятно. Выкладывайте деньги,—сказал Дагобер.

Благочестивый монах положил на стол мешок, который вручил ему со слезами на глазах конильский водочник.

— По рукам!—сказали рабочие.

Так был завершен этот торжественный договор.

Как только монах ушел с радостным сознанием, что приобщил к своему делу широкие слои народа, Дагобер, Трон и Балафил свистнули своим подругам Амалии, Регине и Матильде, которые ждали на улице сигнала, и все шестеро, держась за руки, стали плясать вокруг мешка и петь:

Я набил табаком свой кисет,
У тебя, Шатильон, его нет!
Ату, ату, попов!

Они заказали себе салатник горячего вина.

И с тех пор, каждый вечер, в рабочих кварталах множество людей ходили гуськом по улицам и пели:

Я набил табаком свой кисет,
У тебя, Шатильон, его нет!
Ату, ату, попов!

Дракофильская агитация не имела распространения в провинции. Благочестивый Агарик тщетно старался понять, отчего это происходит, но старец Корнемюз открыл ему в чем дело.

— Я имею точные доказательства,—сказал со вздохом конильский монах, — что казначей дракофилов, герцог Ампуль, купил земли в стране морских свинок на деньги, полученные им для пропаганды.

У партии не хватало денег. Принц Босено потерял свой бумажник во время драки, и ему пришлось с трудом перебиваться, что, при его гордости, было ему очень

не по нраву. Виконтесса Олив стояла очень дорого. Корнемюз посоветовал сократить ее месячное жалование.

— Она нам очень полезна,—возразил благочестивый Агарик.

— Конечно,—сказал Корнемюз,—но, разоряя нас, она нам вредит.

Среди дракофилов начались несогласия. На совещаниях их происходили бурные споры. Одни стояли за политику Бигура и благочестивого Агарика и говорили, что нужно до конца притворяться, будто они добиваются только реформ республиканского строя. Другие, утомленные долгим притворством, решились открыто признать гребень дракона и клялись победить под этим символом.

Они доказывали, что искренность—самая лучшая политика, что дальнейшее притворство становится невозможным.

В сущности, публика давно стала понимать, чего добиваются дракофилы, и знала, что сторонники эмирала хотят разрушить до основания Общественное Дело.

Распространился слух, что принц скоро высадится в Крике и в'едет в Альку на зеленом коне.

Эти слухи воодушевляли фанатичных монахов, приводили в восторг бедных аристократов, радовали богатых еврейских дам и будили надежду в сердцах мелких торговцев. Но очень немногие из них согласились бы купить эти благодеяния ценой государственной катастрофы и падения общественного кредита. Еще меньше было людей, готовых рисковать ради предприятия своими деньгами, своим спокойствием, своей свободой или даже одним часом своих удовольствий. Напротив, рабочие, как всегда, готовы были пожертвовать трудовым днем для республики. В рабочих кварталах начиналось смутное сопротивление.

— Народ с нами,—говорил благочестивый Агарик.

Однако, выходя из мастерских, мужчины, женщины и дети пели в один голос:

Долой Шатильона,
А с ним и попов!

Что касается правительства, то оно выказывало свойственную всем правительствам слабость, нерешительность,

вядость и беспечность, которая обыкновенно длится до тех пор, пока не сменяется произволом и насилием. Словом, правительство ничего не знало, ничего не хотело, ничего не могло. Формоз в глубине своего президентского дворца оставался слепым, немым, глухим, огромным, невидимым, накрывшись своей гордостью, как периной.

Виконт Олив советовал еще раз раздобыть сколько возможно денег и отважиться на решительный шаг в то время, пока еще длится брожение в Альке.

Исполнительный комитет, сам себя избравший, решил овладеть палатой депутатов и стал придумывать средства, как это сделать.

Дело было назначено на двадцать восьмое июля. В этот день солнце радостно взошло над городом. Перед законодательным дворцом хозяйки проходили со своими корзинами, уличные торговцы выкрикивали персики, груши и виноград, а извозчики лошади, опустив морды в мешки, жевали свой овес. Никто не ждал никаких событий, не потому, что приготовления дракофилов хранились в тайне, а потому, что никто не верил этим слухам. Никто не верил в переворот, из чего можно было заключить, что никто не желал его. Около двух часов стали собираться депутаты, проходя по одиночке, никем незамеченные, через боковой вход. В три часа образовалось несколько групп плохо одетых людей. В половине четвертого черные толпы народа, выходя из прилегающих улиц, наполнили площадь Революции. Все огромное пространство наводнилось океаном мягких шляп, и толпа манифестантов, увеличивающаяся от наплыва публики, перешла через мост и подступила мрачным потоком к стенам законодательного дворца. К ясному небу поднимались крики, гул и песни. «Шатильона нужно нам! Долой депутатов! Долой республику! Смерть дельцам!». Священный батальон дракофилов, под предводительством принца Босено, запел священный гимн:

Да здравствует принц Крюшо,
Отважный и прекрасный,
И мудрый с колыбели!

Из-за стены ответом было только молчание.

Это молчание и отсутствие стражи ободряло и пугало толпу. Вдруг раздался громовый крик:

— На приступ!

И гигантская фигура принца Босено вырисовалась на стене, защищенной железными шипами и шишками. За ним бросились его спутники и вся толпа. Одни старались пробить отверстия в стене, другие пытались отвинтить железные шишки и вырвать шипы. В двух-трех местах удалось снять эти укрепления, и несколько нападающих взобрались на невооруженный щипец стены. Принц Босено размахивал огромным зеленым флагом. Вдруг толпа пошатнулась, и из ее среды вырвался протяжный крик ужаса. Полицейская стража и стрелки, выйдя сразу из всех выходов дворца, построились колонной под стеной, и осаждающие сейчас же отступили. После минуты ожидания раздался звук оружия, и отряд полиции бросился со штыками на толпу. Через минуту на опустевшей площади, покрытой брошенными палками и шляпами, водворилась вловещая тишина. Дважды дракофилы пытались восстановить свои ряды и дважды были откинuty назад. Восстание было подавлено. Но принц Босено, стоя на стене неприятельского дворца со знаменем в руке, один защищался против натиска целого отряда. Он сшибал с ног всех приближавшихся к нему. Наконец, его сбросили со стены, и он упал на железную шишку и повис на ней, сжимая в руке знамя Драконидов.

На следующий день министры и члены парламента решили принять энергичные меры. Президент Формоз тщетно пытался выяснить долю ответственности всех участников. Правительство подняло вопрос о том, чтобы лишить Шатильона всех его военных отличий и судить судом, как изменника, врага республики, предателя и т. д.

При этом известии старые сослуживцы эмира, которые еще накануне надоедали ему своей лестью, не стали скрывать своей радости. Но Шатильон сохранил свою популярность среди буржуазии, и на бульварах еще раздавалось пение освободительного гимна: «Шатильона нужно нам».

Министры были в затруднении. Они намеревались предать Шатильона верховному суду. Но они ничего не

знали. Они пребывали в полном неведении, составляющем привилегию власти. Они не могли выставить против Шатильона каких-либо веских обвинений. Они могли представить обвинительной власти только жалкие выдумки своих шпионов. Участие Шатильона в заговоре, его сношения с принцем Крюшо остались тайной тридцати тысяч дракофилов. Министры и депутаты подозревали Шатильона, были даже убеждены в его предательстве, но не имели доказательств. Прокурор сказал министру юстиции: «Мне нужно очень немного для того, чтобы возбудить преследование по политическому делу, но у меня ровно ничего нет; этого недостаточно». Дело не подвигалось. Враги республики торжествовали.

18 сентября утром в Альке разнеслась весть, что Шатильон бежал. Весь город был взволнован и поражен. Сомневались, не могли понять.

Вот что произошло: Однажды храбрый вице-эмирал Вольканмуль, очутившись, будто невзначай, в кабинете Барботана, министра внутренних дел, сказал ему со своей обычной откровенностью:

— Знаете ли, господин Барботан, ваши товарищи не особенно толковый народ; видно, что они не командовали на море. Дурак Шатильон нагнал на всех дьявольский страх.

Министр, в знак отрицания, провел по воздуху ножом для разрезания бумаги.

— Не отрицайте, — возразил Вольканмуль. — Вы не знаете, как отделаться от Шатильона. Вы не решаетесь предать его верховному суду, потому что не уверены, что собрали достаточно обвинений. Его будет защищать Бигур, а Бигур искусный адвокат. Вы правы, господин Барботан, вы правы. Процесс будет опасный.

— Да что вы, друг мой, — спокойно ответил министр. — Если бы вы знали, до чего мы спокойны. Я получаю от моих префектов самые успокоительные вести. Благоразумие пингвинов сумеет расправиться с интригами мятежного солдата. Неужели вы могли предположить на одну минуту, что великий народ, умный народ, рассудительный, работающий, привязанный к либеральным учреждениям, народ, который...

Вольканмуль прервал его глубоким вздохом:

— Ах, — сказал он, — будь у меня время, я вывел бы вас из затруднительного положения. Я бы выкрал у вас Шатильона и одним щелчком отправил бы его к морским свинкам.

Министр насторожился.

— Я бы недолго с этим возился. В одну минуту я бы вас избавил от этого животного. Но мне теперь не до того. Я страшно продулся в баккара. Нужно искать денег. Честь прежде всего, чорт побери!

Министр и вице-эмирал посмотрели молча друг на друга. Затем Барботан сказал решительно:

— Вице-эмирал Вольканмуль, избавьте нас от мятежного солдата. Вы окажете большую услугу Пингвинии, и министр внутренних дел поможет вам заплатить ваши карточные долги.

В тот же вечер Вольканмуль явился к Шатильону и долго смотрел на него с таинственным и огорченным видом.

— Что с тобой? — спросил обеспокоенный эмирал.

Вольканмуль ответил с мужественной скорбью: — Старый товарищ, все открыто. Полчаса тому назад правительство все узнало.

При этих словах Шатильон в ужасе опустился на кресло.

Вольканмуль продолжал: — Тебя могут арестовать каждую минуту. Я тебе советую удрать.

Он вынул часы: — Нельзя терять ни минуты, — сказал он.

— Я могу всетаки зайти на минуту к виконтессе Олив?

— Это было бы безумием, — сказал Вольканмуль.

Он вручил ему паспорт, синие очки и пожелал ему присутствия духа.

— Я буду его иметь, — сказал Шатильон.

— Прощай, старый товарищ!

— Прощай и спасибо. Ты спас мне жизнь.

— Это был мой долг.

Через четверть часа brave эмирал покинул город Альку.

Он отплыл ночью из порта Крик на старом катере и отправился к морским свинкам. Но в восьми милях от берега его захватило судно, плывшее без огней под флагом королевы Черных островов. Эта королева уже давно питала роковую страсть к Шатильону.

Глава VII.

Заключение.

Nunc est bibendum. Освободившись от страхов, радуясь избавлению от столь большой опасности, правительство решило отпраздновать народными увеселениями годовщину возрождения пингвинов и основания республики.

Президент Формоз, министры, депутаты и сенаторы присутствовали при торжестве.

Генералиссимус пингвинских армий явился в парадном мундире. Его приветствовали рукоплесканиями.

Следуя за черным знаменем нищеты и за красным знаменем мятежа, продефилировали с мрачным и покровительственным видом делегации рабочих.

Президент, министры, депутаты, должностные лица, гражданские и военные власти возобновили от своего имени и от имени державного народа древнюю клятву, — сохранить свободу или умереть. Они, не колеблясь, принимали эту альтернативу. Но они предпочитали бы жить свободными. Затем последовали игры, речи и пение.

После отбытия представителей государственной власти толпа граждан стала расходиться медленным и спокойным потоком с криками: «Да здравствует республика! Да здравствует свобода! Долой попов!»

Газеты отметили только один прискорбный инцидент в течение столь прекрасного дня. Принц Босено спокойно курил сигару на Королевском Лугу, когда мимо него проследовал правительственный кортеж. Принц подошел к каретам министров и крикнул громовым голосом: «Смерть дельцам!» На него сейчас же напали полицейские, кото-

рым он оказал бешеное сопротивление. Он свалил с ног нескольких полицейских, но, в конце концов, должен был уступить силе, и его потащили расшибленного, с распухшим лицом, неузнаваемого даже для собственной жены, по радостным улицам в темную тюрьму.

Судейские власти занялись расследованием процесса Шатильона. В адмиралтейском павильоне найдены были письма, указывавшие на участие в заговоре отца Агарика. Общественное мнение обрушилось на монахов, и парламент издал, один за другим, дюжину законов, которые урезывали, уменьшали, ограничивали и уничтожали их права, льготы, привилегии, доходы и создавали бесконечные неправоподобности. Почтенный отец Агарик выносил с твердостью суровость законов, направленных лично против него и сильно ему вредивших, а также мирился с ужасающим падением эмирала, которого он же, главным образом, и погубил. Отнюдь не покоряясь несчастью, он считал его временным и замыслил новые политические планы, еще более смелые, чем прежние.

Когда замыслы его созрели, он отправился однажды утром в конильский лес. На дереве свистел дрозд; ежик пробежал с недовольным видом по каменистой дорожке. Агарик шел большими шагами, произнося про себя отрывистые слова.

Дойдя до лаборатории, где благочестивый водочник в течение стольких счастливых лет изготовлял золотистый ликер святой Орберозы, он очутился перед запертой дверью. Только позади дома он увидел почтенного Корнеюза, который, подобрав рясу, карабкался вверх по лестнице, прислоненной к стене.

— Это вы, друг мой?—обратился к нему Агарик.—Что вы тут делаете?

— Вы видите,—ответил слабым голосом конильский монах, обращая на Агарика грустный взгляд.—Я возвращаюсь домой.

Его красные зрачки уже не искрились, как рубины; взгляд их был мрачный и мутный. Лицо его утратило свою

радостную округленность. Череп его уже не радовал взгляда своим лоском. Кашли трудового пота и воспаленные пятна портили его совершенство.

— Я вас не понимаю,—сказал Агарик.

— А между тем понять не трудно. Вот последствия вашего заговора. Преследуемый множеством законов, я смог обойти некоторые. Но все-таки кое-какие законы обрушились на меня своей тяжестью. Эти мстительные люди закрыли мои лаборатории и мои склады, конфисковали мои бутылки и мои реторты. Они запечатали мою дверь, и мне приходится возвращаться через окно. Мне едва удастся от времени до времени извлечь тайком сок из растений при помощи аппаратов, от которых отказался бы последний винокур.

— Вы жертва преследований,—сказал Агарик,—как и мы все.

Конильский монах провел рукой по лбу с отчаянием:

— Я вам говорил, брат Агарик, я вам говорил, что наше предприятие падет на нас же.

— Наше поражение лишь временно,—быстро возразил Агарик.—Оно вызвано чисто случайными причинами, только несчастным стечением обстоятельств. Шатильон дурак и сам себя потопил. Послушайте, брат Корнемюз. Нам нельзя терять ни минуты. Нужно спасти пингвинский народ, нужно освободить его от тиранов, от самого себя, нужно восстановить гребень дракона, восстановить прежний образ правления во славу религии и католической веры. Шатильон оказался негодным орудием, сломавшимся в наших руках. Нужно заменить его лучшим. Я нашел человека, при помощи которого можно будет уничтожить безбожную демократию. Он не военный. Это—Гоморю. Пингвины обожают его. Он уже предал свою партию за рисовую похлебку. Вот нужный нам человек.

С самого начала его речи конильский монах влез в окно и потащил за собой лестницу.

— Я предвижу,—сказал он, высунув нос из окна,—что вы не прекратите своих интриг, пока нас всех до одного не выгонят из этой прекрасной, приветливой, очаровательной Пингвинии. Прощайте, Господь с вами!

Агарик, стоя перед стеной, умолял своего дорогого брата выслушать его:

— Подумайте о собственной выгоде, Корнемюз. Пингвиния принадлежит нам. Что нам нужно, чтобы завоевать ее? Еще одно усилие... Еще немного денег...

Но конильский монах, не желая более слушать, спрятал свой нос и захлопнул окно.

КНИГА ШЕСТАЯ.

НОВЫЕ ВЕКА.

Дело о восьмидесяти тысячах охапок сена.

Отче, Зевес! О, избавь Аргивян хоть от этого
мрака!
Воздух кругом проясни, дай возможность глазам
нашим видеть,
Лучше при свете губи нас, уж если губить нас
желаешь.
(Илиада, XVII)

Глава I.

Генерал Греток, герцог Скёль.

Немного времени спустя после бегства эмира, еврей среднего класса, по имени Пиро, добивался войти в сношения с аристократией, а также, желая служить своей стране, вступил в пингвинскую армию. Военный министр, которым был тогда Греток, герцог Скёль, не выносил его: он ставил ему в вину его усердие, его крючковатый нос, его тщеславие, его трудолюбие, его толстые губы и его примерное поведение. Каждый раз, когда искали виновника какого-нибудь проступка, он говорил:

— Это навверное Пиро.

Однажды генерал Пантер, начальник генерального штаба, сообщил Гретоку о серьезном происшествии. Восемьдесят тысяч охапок сена, предназначенные для кав.

— Их наверное украл Пиро!

Задумавшись на несколько минут, он сказал:— Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что именно Пиро украл эти восемьдесят тысяч охапок сена. И украл он их, наверное, для того, чтобы продать за бесценюк морским свинкам,—нашим злейшим врагам. Гнусное предательство!

— Это совершенно несомненно, — ответил Пантер. — Остается только доказать.

В тот же день, проходя мимо кавалерийских казарм, принц Босено услышал, как кирасиры пели, подметая двор:

Босено—кабан огромный,
Наготовим из него
Мы колбас на Рождество
Для всей братии голодной.

Пение этой революционной песни, которую в дни мятежа горланили дерзкие рабочие, показалось ему грубым нарушением всякой дисциплины, и он стал сокрушаться о нравственном падении армии.

Он подумал с горькой усмешкой о своем старом товарище Гретоке, начальнике этой павшей армии, который предавал ее антипатриотическому правительству. Нужно положить этому конец, решил принц Босено.

— Негодяй Греток,—сказал он себе,—недолго будет министром.

Принц Босено был самый непримиримый противник современной демократии, свободы совести и государственного строя, добровольно установленного пингвинами. Он питал сильную и откровенную ненависть к евреям и тайно и открыто, днем и ночью, старался делать все, что мог, для восстановления Драконидов. Его пламенный монархизм разгорался еще по причинам личного свойства, в виду все более и более ухудшавшегося материального его положения. Он уверен был, что его денежные затруднения окончатся лишь с водворением на престоле наследника Дракона Великого.

Вернувшись в свой отель, принц вынул из железного

шкапа пачку старых писем, частную, очень секретную переписку, которую он раздобыл у одного продажного приказчика и из которой выяснилось, что его старый товарищ Греток, герцог Скэль, был нечист на руку по части подрядов и получил от одного купца, по имени Малори, взятку—очень небольшую; сама скромность полученной суммы лишала министра, взявшего ее, всякого оправдания.

Принц перечел эти письма с жестоким наслаждением и, тщательно положив их обратно в железный шкаф, поспешил в военное министерство. Он был человек решительный. В ответ на заявление, что министр не принимает, он сбил с ног курьера, растолкал чиновников, военных и штатских, самовольно раскрыл двери и проник в кабинет изумленного Гретока.

— Без лишних слов,—сказал он.—Ты старый негодяй, но это еще ничего. Я просил тебя прогнать генерала Моншена, преданного республике, ты не захотел исполнить мою просьбу. Я просил тебя дать командование корпусом генералу Клапье, стороннику Драконидов, которому я лично многим обязан—ты не захотел. Я просил тебя перевести куда-нибудь генерала Тандема, который командовал в порте Алька, стащил у меня пятьдесят золотых в баккара и велел надеть мне ручные цепи, когда меня судили, как сообщника эмирала Шатильона. Ты не хотел. Я просил тебя дать мне подряд овса и отрубей; ты не хотел. Я просил тебя послать меня с секретной миссией к морским свинкам; ты не хотел. И ты не только отказывал мне во всем, но еще нажаловался на меня своим товарищам по министерству, говоря, что я опасный человек, за которым нужно следить. Благодаря тебе, старый предатель, за мной теперь следит полиция. Я ничего больше у тебя не прошу и скажу тебе только: убирайся вон! Чтобы твоего духа здесь не было! На твое место мы заставим твоих проклятых республиканцев избрать кого-нибудь из наших. Ты знаешь, что я умею держать слово. Если в двадцать четыре часа ты не подашь в отставку, я напечатаю в газетах твою переписку с Малори.

Но Греток, не теряя спокойствия, ответил ему:—Успокойся, наконец, идиот. Я как раз собираюсь отправить на каторгу одного еврея. Я предаю Пиро суду за кражу восьмидесяти тысяч охапок сена.

Принц Босено, бешенство которого сразу упало, как покрывало, улыбнулся:—Да неужели?

— Вот увидишь.

— Поздравляю, Греток. Но так как с тобой нужно быть настороже, то я тотчас же опубликую приятную новость. Сегодня вечером во всех газетах Альки прочтут об аресте Пиро.

И он пробормотал, уходя:—Этот Пиро! Я так и думал, что он плохо кончит.

Через минуту после того к Гретоку явился генерал Пантер.

— Господин министр,—сказал он,—я кончил расследование дела о восьмидесяти тысячах охапок сена. Против Пиро нет никаких улик.

— Нужно найти их,—ответил Греток.—Правосудие этого требует. Прикажи немедленно арестовать Пиро.

Глава II.

Пиро.

Вся Пингвиния узнала с ужасом о преступлении Пиро. Вместе с тем все почувствовали некоторое удовлетворение, узнав, что это воровство, соединенное с предательством и почти с святотатством, совершил какой-то мелкий еврей. Чтобы понять это чувство, нужно знать отношение общества к крупным и мелким евреям. Как мы уже имели случай упоминать в этой истории, каста финансистов, всем ненавистная и чрезвычайно могущественная, состояла из христиан и евреев. Евреи, которые составляли ее и на которых сосредоточивалась вся ненависть народа, были крупные евреи. Они владели огромными капиталами и говорили, что в их руках сосредоточено около одной пятой всех пингвинских богатств. Вне этой опасной касты, существовало множество мелких евреев среднего достатка, которых не любили, как и крупных, но гораздо меньше боялись. Во всяком государстве богатство считается священным, но в демократических государствах единственно оно священо. Пингвиния была демократическим государством. Три или

четыре финансовые компании пользовались там более широкой и, в особенности, более прочной и несомненной властью, чем министры, которыми они втайне управляли, заставляя их, подкупом или угрозами, оказывать им всяческие предпочтения на счет государства. А если министры были честными, то капиталисты уничтожали их газетной клеветой. Несмотря на тайну денежных выдач, подкупы эти были достаточно известны, чтобы возмущать страну. Но пингвинская буржуазия, высшая и низшая, воспитанная в преклонении перед деньгами, сама имея капитал в большем или меньшем количестве, понимала, насколько важна солидарность капитала, и понимала также, что мелкое богатство обеспечивается только неприкосновенностью больших капиталов. Поэтому все буржуа питали благоговейное почтение к миллиардам еврейским, так же как к христианским, а так как корыстолюбие превышало в них чувство отвращения, то они до смерти боялись тронуть хотя бы волос кого-нибудь из крупных евреев, ненавистных им. Относительно мелких они меньше церемонились, и когда кто-нибудь из них попадал в беду, все старались добить его. Вот почему вся нация с чувством злобного удовлетворения узнала, что предатель—еврей, но из мелких. Можно было, значит, отомстить в его лице всем евреям, не нанося ущерба государственному кредиту.

В том, что Пиро действительно украл восемьдесят тысяч сена, никто ни на минуту не сомневался уже потому, что полное незнание обстоятельств дела не допускало сомнений, нуждающихся в каких-нибудь основаниях. Можно верить без всякого основания, но нельзя сомневаться, не имея оснований. Не сомневались и потому, что повсюду об этом говорилось, и что в глазах большинства повторять значит доказывать. Не сомневались потому, что желали, чтобы Пиро оказался виновным,—а всегда верят в то, чего желают. Кроме того, способность сомневаться редка в людях; лишь небольшое число умов носит в себе зачатки скептицизма, нуждающиеся в культуре для развития. Способность сомневаться—свойство своеобразное, замечательное, философское, высокое, аморальное, чудовищное, коварное, вредное для людей и для вещей, враждебное общественному строю и благоденствию государств, пагубное

для человечества, разрушительное для богов, ненавистное небу и земле. Пингвинская толпа не знала сомнений: она верила в виновность Пиро, и вера эта тотчас же сделалась одним из основных принципов национализма и одной из существенных истин пингвинского патриотизма.

Пиро судили тайно и осудили.

Генерал Пантер тотчас же отправился сообщить военному министру об исходе процесса.

— К счастью,—сказал он,—судьи были убеждены в виновности подсудимого, потому что улики против него не было никаких.

— Улики!—пробормотал Греток.—Что могут доказать улики? Есть только одна неопровержимая улика: признание виновного. Пиро сознался?

— Нет, генерал.

— Он сознается: он должен сознаться. Нужно уговорить его, Пантер; скажите ему, что в его интересах сознаться. Обещайте ему, что если он сознается, то ему смягчат наказание, что его помилуют. Обещайте ему, что если он сознается, то суд признает его невиновным. Ему дадут орден. Обратитесь к его лучшим чувствам. Пусть он сознается из патриотизма, во имя национального знамени, во имя общественного порядка, из преклонения перед иерархией, по специальному приказу министра, во имя военной дисциплины... Но ведь, в сущности, разве он уже не сознался, Пантер? Бывают молчаливые сознания; молчание—то же сознание.

— Но он не молчит, генерал. Он кричит, что он не виновен.

— Пантер, сознание виновного заключается иногда в чрезмерном упорстве его отпирательства. Отчаянно отпираться—значит сознаться. Пиро сознался; нам нужны свидетели его сознания; правосудие этого требует.

В западной части Пингвинии находился морской порт под названием Крик, состоящий из трех маленьких бухт, куда прежде заезжали корабли; теперь эти бухты занесены песком и пустынные. Лагуны, покрытые плесенью, тянулись вдоль низких берегов, распространяя ядовитый запах, и лихорадка парит над сонными

водами. Там, на берегу моря, возвышалась высокая четырехугольная башня, похожая на старую венецианскую колокольню. С одной стороны этой башни, почти у самой верхушки, висела на цепи, прикрепленной к поперечной балке, решетчатая клетка, в которую при Дракониадах инквизиторы Альки сажали еретиков. В эту клетку, пустовавшую более трехсот лет, заперли Пиро под присмотром шестидесяти стражников, которые жили в башне, не спуская с него глаз ни днем, ни ночью, подстерегая его признания, чтобы донести о них военному министру. Добросовестный и осторожный Греток требовал признаний и сверхпризнаний. Греток, хотя и считался дураком, в действительности, был полон мудрости и редкой предусмотрительности.

А Пиро, палимый солнцем, с'едаемый москитами, страдая от дождя, града и ледяного снега, шатаемый яростно бурей, измученный мрачным карканьем ворон, садившихся на его клетку, писал уверения в своей невинности на досках своей рубахи зубочисткой, обмоченной в крови. Эти тряпки падали в море или попадали в руки тюремщиков. Некоторые из них всетаки дошли до Пингвинии и попались на глаза публике. Но уверения Пиро никого не трогали, потому что было опубликовано его сознание.

Глава III.

Граф Мобек де-ла-Дандюлинкс.

Нравы мелких евреев не всегда отличались чистотой. Большею частью они не уклонялись от пороков христианской культуры; но они сохраняли от патриархальных времен твердость семейных уз и привязанность к интересам своего племени. Братья, сводные братья, дяди, двоюродные дяди, двоюродные братья и внучатные племянники, родственники и свойственники Пиро, в количестве семисот, были сначала так поражены ударом, обрушившимся на члена их семьи, что заперлись в своих домах, покрыли голову пеплом и, благословляя руку, карающую их, соблюдали суровый пост в течение сорока

дней. Потом они выкупались и решили, не покладая рук, ценой каких бы то ни было трудов, не взирая на все опасности, доказать невинность Пиро, в которой они не сомневались. Как бы они в ней усомнились? Невинность Пиро открылась им столь же ясно, как его преступность открылась пингвинским христианам. Такого рода откровения, не имеющие ясных причин, принимали мистический характер и приобретали убедительность религиозных истин. Семьсот пиротов взялись за дело столь же ретиво, сколь осмоторительно, и тайно произвели самые обстоятельные расследования. Они были повсюду и нигде не были видны; можно было сказать, что, как кормчий Одиссея, они свободно ходили под землей. Они проникли в военное министерство, беседовали, никем не узнанные, с судьями, с секретарями, с свидетелями. Тут именно и обнаружилась мудрость Гретока: свидетели ничего не знали, судьи и секретари ничего не знали. Разведчики пиротов добрались до самого Пиро и тревожно опрашивали сидящего в клетке пленника, под протяжный гул воли и хриплое карканье ворон. Но все было напрасно: осужденный ничего не знал. Семьсот пиротов не могли уничтожить улики его виновности, потому что не могли доискаться их, а доискаться они не могли, потому что их не существовало. Виновность Пиро была неопровержима, потому что ее не было. И Греток с законной гордостью сказал однажды, как истинный художник, генералу Пантеру: «этот процесс—шедевр; он сделан из ничего». Семьсот пиротов отчаивались в возможности когда-либо выяснить это темное дело, как вдруг узнали из выкраденного письма, что восемьдесят тысяч охапок сена никогда не существовали, что один весьма знатный аристократ, граф Мобек, продал их государству, получил за них деньги, но не доставил их никогда, потому что, хотя он и происходил из семьи богатейших земельных собственников древней Пингвинии и наследовал состояние Мобеков де-ла-Дандюлинкс, некогда владевших четырьмя герцогствами, шестьюдесятью графствами, шестьюсот двенадцатью маркизатами и баронствами, все же у него самого не было куска земли хотя бы длиной в ла-

донь, и он не мог бы накосить в своих поместьях и одну охапку сена. А что касается того, чтобы купить хоть соломинку за деньги у какого-нибудь собственника или продавца—то это было совершенно недопустимо, потому что все, кроме министров и должностных лиц, знали, что легче выжать масло из булыжника, чем грош из Мобека.

Семьсот пиротов, тщательно исследовав финансовые ресурсы графа Мобека де-ла-Дандюлинкс, убедились, что главный источник доходов этого аристократа составляет дом, где чрезвычайно щедрые дамы давали первому встречному то, что он хотел. Они публично обвинили его в краже восьмидесяти тысяч охапок сена, за что был обвинен и посажен в клетку невинный.

Мобек был родом из знатной семьи, состоявшей в родстве с Драконидами. А в демократических государствах ничто так не уважают, как знатность происхождения. Мобек служил в пингвинской армии, а Пингвины с тех пор, пока они все служили в солдатах, обожали свою армию. Мобек получил крест на поле битвы, что считается почетным знаком у пингвинов, и что они предпочитают даже ложу своих супругов. Вся Пингвиния стала на сторону Мобека, и глас народа требовал, чтобы семьсот клеветников были подвергнуты суровой каре. Мобек был дворянин; он послал вызов семистам пиротам, приглашая их драться на шпагах, на пистолетах, на ружьях, на саблях или на палках.

«Гнусные жида, — писал он в своем пресловутом письме, — вы распяли моего Бога, теперь добираетесь до меня... Предупреждаю вас, что я не буду таким слабым, как он, и что отрублю вам ваши 14.000 ушей. Примите мой пинок в ваши 700 задниц».

Председателем совета министров был в то время крестьянин, по имени Робен Медоточивый, человек, сердечно относившийся к богатым и сильным и суровый к бедным и слабым. Не храброго десятка, он занят был только своими личными интересами. Он публично поручился за невинность и честность Мобека и предал суду семьсот пиротов, которых приговорили за клевету

к телесному наказанию, огромным штрафам, проторям и убыткам в пользу их невинной жертвы.

Казалось, что Пиро навсегда останется запертым в своей клетке, на которую садились вороны. Но хотя все старались доказать виновность этого еврея, приводимые доказательства не все были убедительны и несколько противоречили одни другим. Офицеры генерального штаба обнаруживали большое усердие, но не все были достаточно осторожны. В то время, как Греток хранил великолепное молчание, генерал Пантер растекался в нескончаемых речах и доказывал каждое утро в газетах виновность осужденного. Может быть, было бы благо-разумнее не говорить об этом: виновность была очевидна, очевидность же не доказывается. Обилие рассуждений смущало умы. Вера, еще живая, делалась менее крепкой. Чем больше доказательств приводили толпе, тем более она их требовала.

Но опасность слишком обильных доказательств не была бы так велика, если бы в Пингвинии, как впрочем, и повсюду, не нашлись люди свободомыслящие, способные разобраться в трудном вопросе и склонные к философскому сомнению. Их было мало, и не все они соглашались открыто говорить; публика не была подготовлена их слушать. Все же они говорили не одним глухим. Крупные евреи, все еврейские миллиардеры в Альке, когда им говорили о Пиро, отвечали: «мы не знаем этого человека»; но они мечтали спасти его. Они соблюдали осторожность, к которой их вынуждало их богатство, и им хотелось бы, чтобы нашлись более смелые люди, чем они. Желание их исполнилось.

Глава IV.

Коломбан.

Несколько недель спустя после осуждения семисот пиротов, маленький человек, близорукий, волосатый, хмурый, выйдя однажды утром из дома, неся банку клея, лестницу и пачку афиш, отправился по улицам расклеивать на стенах объявления, на которых можно

было прочесть большими буквами: «Пир о не виновен. Виноват Мобек».

Он не был профессиональным расклейщиком афиш. Имя его было Коломбан. Он написал сто шестьдесят томов пингвинской социологии и считался одним из самых трудолюбивых и почитаемых писателей Альки. После достаточного размышления, не сомневаясь более в невинности Пиро, он решил огласить свое убеждение наиболее бросающимся в глаза образом. Он расклеил беспрепятственно несколько афиш на тихих улицах. Но когда он дошел до людных кварталов, то каждый раз, как он подымался на лестницу, вокруг него собиралась толпа людей, застывших от изумления и возмущения. Они бросали на него угрожающие взгляды: но он выносил их со спокойствием, которое дает смелость и близорукость. В то время, как, следуя по его пятам, швейцары и лавочники срывали его афиши, он шел со своими принадлежностями, в сопровождении мальчиков с сумками за плечами и с корзинкой под мышкой, которые шли за ним, не торопясь, в школу. Он усердно клеил афиши. К безмолвному возмущению присоединились теперь громкие протесты и ропот. Но Коломбан не желал замечать всего этого. В то время, как он приклеивал в начале улицы Святой Орберозы один из своих листков, на котором было напечатано: «Пир о не виновен. Виноват Мобек», собравшаяся вокруг него толпа стала громко выражать свой гнев. «Предатель, вор, негодяй!» кричали ему. Какая то хозяйка, открыв окно, встрясла ему на голову мусорный ящик. с другой стороны улицы извозчик сбил ему хлыстом шляпу при злорадных криках толпы. Мальчик из мясной лавки опрокинул его вместе с клеем, кистью и афишами с лестницы в канаву, и возгордившиеся пингвины почувствовали тогда величие своей родины. Коломбан поднялся, лоснящийся от грязи, с исцарапанными локтями и ногами, спокойный и решительный.

— Грубые животные! — пробормотал он, пожимая плечами.

Потом он стал на четвереньки в канаве, чтобы отыскать пенснэ, потерянное при падении. При этом ока-

залось, что сюртук его разодрался от ворота донизу и панталоны разорваны в клочья. Это усилило враждебное отношение к нему толпы.

По другую сторону улицы находилась большая фруктовая лавка Св. Орберозы. Патриоты схватили с выставки все, что находили под рукой, и стали бросать в Коломбана: апельсины и лимоны, банки с вареньем, плитки шоколада, бутылки ликеров, ящики сардинок, паштеты, окорока, дичь, боченки с маслом и мешки с бобами. Закиданный с'естными припасами, расшибленный, исцарапанный, хромою, полуслепой, он бросился бежать, и за ним бежали мальчики из лавок, поварята, бродяги, почтенные прохожие, шелопан, число которых увеличивалось с каждой минутой, и все они рычали: «В воду его! Смерть предателю! В воду его!» Этот поток грубой черни пролился по всем бульварам и ворвался в улицу Святого Маэля. Полиция исполняла свой долг. Со всех примыкающих улиц выходили полицейские, которые, держась левой рукой за ножны, становились во главе преследователей Коломбана и мчались за ним. Они уже схватили, было, своими огромными ручищами Коломбана, как вдруг он выскользнул из их рук, упав через открытое отверстие на дно водосточной трубы.

Там он провел ночь, сидя в темноте у края грязных вод, среди мокрых и жирных крыс. Он думал о своей задаче. Сердце его преисполнилось отвагой и жалостью. И когда заря бросила бледный луч через отдушину, он встал, говоря самому себе:

— Я вижу, что борьба будет не легкая.

Тотчас же он составил записку, в которой ясно доказывал, что Пиро не мог выкрасть из военного министерства восьмидесяти тысяч охапок сена, которые туда не поступали, раз Мобек его не доставил, хотя и получил деньги за доставку. Эту записку, по распоряжению Коломбана, раздавали прохожим на улицах Альки. Народ отказывался читать ее и с гневом разрывал листки. Лавочники грозили кулаками людям, раздававшим записку Коломбана, и им приходилось спасаться бегством от женщин, гнавшихся за ними с половыми щетками. Вол-

нение возросло, продолжаясь целый день. К вечеру группы мрачных людей в лохмотьях бегали по улицам и ревели: «Смерть Коломбану!» Патриоты вырывали у разносчиков целые пакеты записок Коломбана, сжигали их на площадях и плясали хороводом вокруг костров вместе с девицами, забиравшими юбки до живота.

Самые пылкие патриоты пошли разбивать окна в доме, где Коломбан жил сорок лет, безмятежно трудясь в глубоком спокойствии.

Палата обеспокоилась и запросила у главы правительства, какими мерами он собирается приостановить гнусные нападки Коломбана на честь национальной армии и на безопасность Пингвинии. Робен Медоточивый публично выразил порицание дерзости Коломбана и заявил, при рукоплесканиях законодательного собрания, что Коломбан ответит перед судом за свой гнусный пасквиль.

Военный министр, призванный на трибуну, взошел на нее преображенный. Он уже не был похож, как прежде, на священного гуся пингвинских крепостей. Взъерошенный, с вытянутой шеей, с крючковатым носом, он казался символическим коршуном, клюющим печень врагов отечества.

В торжественном молчании палаты он произнес только следующие слова:

— Клянусь, что Пиро мерзавец.

Эти слова Гретока, распространившиеся по всей Пингвинии, успокоили общественную совесть.

Глава V.

Достопочтенные отцы Агарик и Корнемюз.

Коломбан с изумлением и кротостью нес бремя общего осуждения. Он не мог выйти из дома без того, чтобы его не пбили камнями, и поэтому совсем не выходил. Он писал у себя в кабинете с упрямством великодушным новые записки в защиту невинного, посаженного в клетку. Среди немногих читателей, которые у него были, несколько — около дюжины, были поражены его

доводами и начали сомневаться в виновности Пиро. Они говорили об этом своим близким и старались распространить вокруг себя свет, озаривший их умы. Один из них был другом Робена Медоточивого, которому он сказал о своих сомнениях, после чего Робен перестал его принимать. Другой потребовал в открытом письме объяснений у военного министра. Третий опубликовал грозный памфлет. Этот человек, по имени Керданик, славился своим полемическим талантом, и его боялись. Публика не знала, что думать. Говорили, что эти защитники предателя подкуплены крупными евреями. Их обзывали презрительным именем пиротинов, и патриоты клялись уничтожить их. На всем протяжении обширной республики было всего тысяча или тысяча двести пиротинов. Но они всюду мерещились своим врагам: на прогулках, в собраниях, в светских салонах, на семейном обеде, на супружеском ложе. Одна половина населения внушала подозрение другой. Алька загорелась междоусобной распрей.

Между тем, отец Агарик, который стоял во главе большой школы для молодых аристократов, следил за событиями с тревожным вниманием. Несчастья пингвинской церкви не сокрушили его. Он сохранял верность принцу Крюшо и не терял надежды восстановить на престоле Пингвинии наследника Драконидов. Ему казалось, что события, которые свершались или готовились в стране, настроение умов, причиной и последствием которого они были, и смуты, к которым они должны были неминуемо привести, могли бы, если ими управлять с глубокой мудростью служителя церкви, поколебать республику и привести пингвинов к восстановлению принца Крюшо, благочестие которого сулило утешение для верующих. Надев большую черную шляпу, края которой были подобны крыльям ночи, он направился через Конильский лес к лаборатории, где его почтенный друг, отец Корнемюз, изготовлял гигиенический ликер святой Орберозы. Производство доброго монаха, получивши сильный удар при эмирале Шатильоне, оправлялось. Опять через лес тянулись товарные поезда, и под наве-

сами сотни сирот упаковывали бутылки и заколачивали ящики.

Агарик застал почтенного Корнемюза перед печкой, среди его реторт. Бегающие зрачки старика опять горели рубиновыми огнями; череп его лоснился, как в старое время.

Агарик прежде всего поздравил благочестивого водочника с тем, что в его лабораториях и мастерских снова закипела работа.

— Дела поправляются, благодарение Богу,—ответил конильский старец.—Да, было время, когда они очень пошатнулись, брат Агарик. Вы сами видели, в каком я был печальном положении. Что же мне говорить?

Агарик отвернулся.

— Ликер святой Орберозы,—продолжал Корнемюз,—снова торжествует победу. Но все-таки, мое дело очень еще неверное. Законы, грозящие мне полным разорением, не отменены, они только временно не применяются...

Конильский монах поднял к небу свои рубиновые зрачки.

Агарик положил ему руку на плечо.

— Ах, Корнемюз,—сказал он,—какое зрелище являет нам несчастная Пингвиния! Всюду неповиновение, независимость, свобода. Всюду поднимаются надменные гордецы, мятежники. Поправ божеские законы, они идут против законов человеческих,—и это подтверждает, что для того, чтобы быть хорошим гражданином, нужно быть благочестивым христианином. Коломбан старается уподобиться сатане. Множество преступников следуют его пагубному примеру. Они хотят в своем безумии освободиться от всякой увды, сбросить всякое ярмо, освободиться от самых священных уз, избежать самых спасительных ограничений. Они ополчаются против своей родины для того, чтобы она подчинилась им. Но они падают под тяжестью негодования, презрения, осуждения, гнева и всеобщей ненависти. Вот пропасть, к которой их привели безбожие, свободомыслие и чудовищное стремление самим судить, иметь собственное мнение.

— Конечно, конечно,—возразил отец Корнемюз, качая головой.—Но я сознаюсь, что, занимаясь дистилли-

ровкой трав, я не имел времени следить за политикой. Я только знаю, что много говорят о каком-то Пиро. Одни утверждают, что он виновен, другие, что он невинен, но я не совсем ясно понимаю, какие причины побуждают я тех и других заниматься делом, совершенно их не касающимся.

Благочестивый Агарик живо спросил его:

— Вы-то не сомневаетесь в преступности Пиро?

— Я не могу в ней сомневаться, дорогой Агарик,—ответил конильский монах.—Это было бы противно законам моей страны, которые нужно уважать, поскольку они не противоречат божественным законам. Пиро виновен, потому что он осужден. Сказать же более того за или против его виновности значило бы поставить свой авторитет на место авторитета судей, от чего я воздержусь. К тому же это бесполезно, раз Пиро осужден. Если он не потому осужден, что виновен, то он виновен потому, что осужден; сводится к одному и тому же. Я верю в его виновность, как должен верить в нее каждый добрый гражданин; и я буду верить в нее до тех пор, пока установленное правосудие велит мне верить в нее, потому что не частному человеку, а судье подобает устоянно навливать невинность осужденного. Человеческое правосудие следует почитать вплоть до заблуждений, неминуемо связанных с его природой, погрешимой и ограниченной. Заблуждения эти не бывают неоправданными; если судьбы не восстанавливают истины на земле, то Господь восстановит ее на небе. К тому же я очень доверяю генералу Гретоку, который кажется мне, вопреки кажущейся видимости, умнее всех тех, которые на него нападают.

— Дорогой Корнемюз, — воскликнул благочестивый Агарик, — дело Пиро при том направлении, которое мы ему придадим с помощью Господа и при посредстве нужных для этого сумм, окажет нам огромную пользу. Оно обнаружит все слабости антихристианской республики, вызовет у пингвинов желание восстановить царствование Драконидов и права церкви. Но для этого нужно, чтобы народ видел своих левитов в первом ряду своих защитников. Пойдем против врагов армии, против тех, которые оскорбляют героев, и все пойдут за нами.

— Все было бы слишком много, — пробормотал, качая головой, конильский монах. — Я вижу, что среди пингвинов начинается распря. Если мы впутаемся в их ссору, они примирятся на наш счет, и мы же уплатим военные издержки. Вот почему, милый Агарик, не следует впутывать церковь в это предприятие, поверьте мне.

— Вы знаете мою энергию, вы знаете мою осмотрительность. Я не нанесу вреда никому... Милый Корнемюз, у вас я только прошу денег, нужных для того, чтобы начать кампанию.

Корнемюз долго отказывался взять на себя издержки по предприятию, которое он считал пагубным. Агарик был то патетичным, то грозным. Наконец, уступая просьбам и угрозам, Корнемюз пошелся, опустив голову, в свою строгую келью, где все свидетельствовало об евангельской бедности. В белую выштукатуренную стену, под веткой священного букуса, был вделан железный шкаф. Корнемюз со вздохом открыл его, вынул маленькую пачку билетов и нерешительно протянул их благочестивому Агарiku.

— Не сомневайтесь, дорогой Корнемюз, — сказал Агарик, опустив бумаги в карман своей рясы, — что дело Пиро послано было нам небом, чтобы возвеличить славу пингвинской церкви.

— Хорошо, если бы вы оказались правы! — сказал со вздохом конильский монах.

Оставшись один в лаборатории, он с несказанной грустью взглянул на свою печь и на свои реторты.

Глава VI.

Семьсот пиротов.

Семьсот пиротов все более и более внушали отвращение публике. Каждый день на улицах Альки нападали на двух-трех из них; одного публично высекали, другого бросили в реку; третьего обмазали дегтем, обвалили в перьях и провели в таком виде по бульварам, среди смеющейся толпы; четвертому обрубил нос один драгунский капитан. Они не смели показываться в клубе, на

уеннисе, на скачках; они тайком пробирались на биржу. В виду этого принц Босено считал необходимым как можно скорее сбить им спесь. Для этого вместе с графом Клена, де-ля-Трюмелем, виконтом Оливом, Бигуром, он основал большое общество антипиротов, к которому стали примыкать граждане сотнями тысяч, солдаты целыми ротами, бригадами, дивизиями, города и провинции. Около этого времени военный министр, навестив начальника генерального штаба, с изумлением увидел, что большая комната, где работал генерал Пантер, в прежнее время совершенно пустая, теперь вставлена снизу доверху ящиками с тройным и четверным рядом папок всевозможных форматов и цветов; комната превратилась в архив, который в несколько дней разросся до размеров векового бумагохранилища.

— Что это такое? — с удивлением спросил министр.

— Улики против Пиро, — ответил с чувством патристического удовлетворения генерал Пантер. — У нас их не было, когда мы его осудили. С тех пор мы вознаградили себя.

Дверь была открыта. Греток увидел, как из входной двери вошел длинный ряд носильщиков, которые выбирали в залу тюки бумаг, и он заметил подъемную машину, которая подымалась, кряхтя под тяжестью бумажных кип.

— Это что еще? — спросил он.

— Это новые улики против Пиро. Я обратился за ними во все кантоны Пингвинии, во все генеральные штабы и ко всем европейским дворам. Я заказал их во всех городах Америки и Австралии и во всех африканских поселениях. Я жду тюки улики из Бремена и из Мельбурна.

Пантер обратился на министра спокойный и сияющий взгляд героя. Но Греток, через монокль, глядел на эту огромную грудку бумаг скорее с беспокойством, нежели с удовлетворением.

— Все это прекрасно, — сказал он, — но я боюсь, что процесс Пиро утратит свою прекрасную простоту. Дело было чисто, как хрусталь, и все достоинство его было в этой прозрачности. Тщетно было бы искать в нем через увеличительное стекло малейшую ошибку, малейшее пятнышко,

малейший недостаток. Выйдя из моих рук, оно было ясно, как Божий день. Я дал вам жемчужину, а вы делаете из нее гору. Говоря всю правду, я боюсь, что ваше чрезмерное усердие принесет только вред. Улики! Конечно, хорошо иметь улики, но может быть лучше их не иметь. Я вам уже говорил, Пантер. Есть только одна неопровержимая улика, сознание виновного (или невинного, не все ли равно!). В том виде, как я его поставил, дело Пиро не допускало критики; к нему нельзя было придаться ни с какой стороны. Оно было неуязвимо, так как было невидимо. А теперь оно делается опять спорным. Я вам советую, Пантер, пользоваться вашими документами осторожно. Я был бы вам очень признателен, если бы вы поменьше беседовали с журналистами. Вы говорите хорошо, но говорите слишком много. Скажите, Пантер, между этими документами есть и поддельные?

Пантер улыбнулся:

— Есть приспособленные.

— Я об этом говорю. Тем лучше. Есть приспособленные. Они самые ценные. Поддельные документы в общем более ценны, как доказательства, чем настоящие, во-первых, потому что они сделаны на заказ, для данного случая, по точной мерке, потому что они точны и верны. Они лучше настоящих и потому, что переносят в идеальный мир и отвращают от действительности, которая, увы, в этом мире всегда имеет какую-нибудь примесь... Но все-таки, Пантер, я предпочел бы не иметь никаких улики.

Союз антипиротов начал свои действия с того, что потребовал от правительства немедленного предания верховному суду за государственную измену семисот пиротов и их сообщников. Принц Босено, которому поручено было говорить от имени союза, явился в собрание, созванное, чтобы его выслушать, и выразил пожелание, чтобы бдительность и твердость правительства оказались на высоте обстоятельств. Он пожал руки всем министрам и, проходя мимо генерала Гретока, шепнул ему на ухо:

— Делай по-моему, негодяй, или я напечатаю письма Малори.

Несколько дней спустя, по единогласному постановлению палаты и сената, союз антипиротов получил офи-

циальное одобрение правительства за свою деятельность. Тотчас же после того союз отправил к морским свинкам, в замок Читерлинкс, где Крюшо вкушал горький хлеб изгнания, посольство с поручением уверить принца в любви и преданности антипиротских союзников.

Число пиротов тем временем возрастало; их было теперь десять тысяч. У них были на бульварах свои излюбленные кафэ. У патриотов были свои, более роскошные. Каждый вечер с одной террасы на другую летели кружки с пивом, блюда, спичечницы, графины, стулья и столы, зеркала разбивались вдребезги. Темнота покрывала драку, возмещая численное неравенство, и полицейские отряды заканчивали борьбу, топчя одинаково своими тяжелыми подошвами, подбитыми гвоздями, приверженцев обеих партий.

В одну из таких славных ночей, когда принц Босено выходил вместе с несколькими патриотами из модного кабачка, де-ля-Трюмель указал ему на маленького человека в пенсне, с бородой, без шляпы, с одним только рукавом на сюртуке, который едва ступал по тротуару, заваленному всевозможными обломками и остатками:

— Смотрите,—сказал он,—вот Коломбан!

При всей своей силе, принц отличался кротостью и терпимостью. Но при имени Коломбана у него вскипела кровь. Он подскочил к маленькому человеку в пенсне и свалил его с ног ударом кулака по носу.

Тогда де-ля-Трюмель увидел, что, обманутый незаслуженным сходством, он принял за Коломбана некоего Базиль, бывшего адвоката, секретаря союза антипиротов, пламенного и благородного патриота. У принца Босено была душа древнего героя, не уступающая обстоятельствам. Однако, он умел сознаваться в ошибках.

— Господин Базиль,—сказал он, приподнимая шляпу,—если я и коснулся вашего лица, то вы меня простите, поймете и даже, более того, одобрите и похвалите. Вы меня поздравите, когда узнаете причину этого поступка: я принял вас за Коломбана.

Базиль вытер платком окровавленный нос и приподнял локоть, высовывавшийся из отсутствующего рукава.

— Нет,—сухо сказал он,—я ничуть вас не хвалю, не одобряю и не поздравляю, ибо ваш поступок был, по меньшей мере, излишним, так сказать, сверхдолжным. Меня сегодня приняли уже три раза за Коломбана и поступили со мной так, как он этого заслуживает. Патриоты переломали мне за него все ребра, и мне казалось, что этого достаточно.

Едва он кончил свою речь, как появилась толпа пиротов; обманутые в свою очередь злополучным сходством, они думали, что патриоты побивают Коломбана. Они напали на принца Босено и его спутников, избили их палками с железными наконечниками и плетью до полусмерти, завладели Базилом и понесли его на плечах, не взирая на его возмущенные протесты, с криками: «Да здравствует Коломбан! Да здравствует Пиро!» по бульварам, до тех пор, пока пустившаяся им вдогонку полиция не настигла их и не потащила в участок. Там несчастного Базиля под именем Коломбана истоптали тяжелыми подошвами, обитыми множеством гвоздей.

Глава VII.

Бидо-Кокиль и Манифлора. Социалисты.

В то время, как в Альке проносился вихрь гнева и злобы, Евгений Бидо-Кокиль, самый бедный и самый счастливый из астрономов, взмогившись на старый пожарный насос времени Драконидов, наблюдал небо через плохой телескоп и фотографировал на плохих пластинках падающие звезды. Его гениальность исправляла ошибки инструментов, и его любовь к науке преодолевала неточность приборов. Он наблюдал с неугасимым рвением аэролиты, метеориты и болиды, все пламенные осколки, все пылающие пылинки, которые пробегают с безумной быстротой через земную атмосферу, награждаемый равнодушием публики, неблагодарностью правительства и враждебностью ученых обществ. Погруженный в созерцание небесных пространств, он не знал о событиях, происходивших на земной поверхности; он никогда не читал газет, и когда ходил по городу, занятый в мыс-

лях ноябрьскими астероидами, он не раз попадал в бассейн городского сада или под колеса автобусов.

Высокого роста и возвышенного образа мыслей, он питал уважение к самому себе и к другим, что выражалось у него холодной вежливостью обращения, а также тем, что он носил очень тонкий черный сюртук и цилиндр, что еще более утончало и одухотворяло его фигуру. Он завтракал и обедал в маленьком ресторане, покинутом другими посетителями, менее возвышенного образа мыслей; только его салфетка в деревянном кольце покоилась в пустынной конторке. В этом ресторанчике попала ему раз на глаза брошюра Коломбана в защиту пирота. Он прочел ее, щелкая орехи; и вдруг, охваченный изумлением и восторгом, ужасом и жалостью, он забыл про падение метеоров и про звездный дождь и увидел только несчастного, сидящего в клетке, которая раскачивается ветром и на которую садятся вороны.

Этот образ не покидал его. Он уже целую неделю все думал о невинно осужденном, когда, однажды, выйдя из ресторана после обеда, он увидел толпу граждан, входивших в кабачок, где должно было состояться собрание. Он вошел вместе с другими. Собрание было объявлено с прениями. В накуренном зале стоял рев и ругань; присутствующие колотили друг друга. Говорили пироты и антипироты, которых поочередно приветствовали и ругали. Публика была охвачена мрачным и смутным неистовством. С отвагой робких и одиноких людей Бидо-Кокиль вскочил на эстраду и говорил три четверти часа. Он говорил быстро, без всякой последовательности, но горячо и с убежденностью мистического математика. Ему шумно аплодировали. Когда он сошел с эстрады, высокая женщина без возраста, вся в красном, с героическими перьями на огромной шляпе, бросилась к нему, торжественно и восторженно обняла его и сказала:

— Вы прекрасны!

Он подумал в простоте душевной, что, может быть, это отчасти верно.

Она заявила ему, что у нее теперь только одна цель в жизни — спасение Пиро и культ Коломбана. Он на-

шел ее возвышенной и прекрасной. Это была Манифлора, старая кокетка, бедная, забытая, вышедшая из употребления и вдруг сделавшаяся ярой пражданкой.

Она с этих пор не расставалась с ним. Они пережили вместе неподражаемые часы в кабаках и меблированных комнатах, преображенных их чувствами, в редакциях, на собраниях и на лекциях. Он был идеалист и упорно считал ее очаровательной, хотя имел достаточно случаев убедиться, что ничего привлекательного в ней уже не было. У нее осталась от прежней красоты только уверенность в том, что она должна нравиться, и высокомерная требовательность услуг. Впрочем, нужно признать, что процесс Пиро, создавший много чудес, действительно придал Манифлоре некоторое гражданское величие и превращал ее на сходках в величественный символ правосудия и истины.

Никто из антипиротов, из защитников Гретока, из сторонников армии не отнесся к Бидо-Кокилю и к Манифлоре с иронией и веселостью. Боги с своим гневом отказали этим людям в драгоценном даре улыбки. Они серьезно обвиняли куртизанку и астронома в шпионстве, в предательстве, в заговоре против родины. Бидо-Кокиль и Манифлора вырастали на глазах, благодаря преследованиям, оскорблениям и клевете.

Пингвиния уже в течение многих месяцев делилась на два лагеря, и, как это ни странно на первый взгляд, социалисты еще не примкнули ни к тому, ни к другому. В состав разных социалистических организаций входили почти все рабочие страны, составлявшие разрозненную, разбитую, не вполне сознающую себя, но все же огромную силу. Дело Пиро поставило главарей в затруднительное положение: им не хотелось становиться ни на сторону финансистов, ни на сторону военных. Они считали и крупных, и мелких евреев своими непримиримыми противниками. Ни принципиально, ни материально они не были заинтересованы в этом деле. Но все же большинство из них чувствовало, что трудно стоять вне борьбы, захватившей всю Пингвинию.

Главные члены партии собрались в правлении своего союза, на улице Чортова Хвоста, чтобы обсудить, как им

следует держаться при данных обстоятельствах и при возможных в ближайшем будущем осложнениях.

Товарищ Феникс заговорил первым:

— Совершенно в высшей степени гнусное и низкое преступление, — сказал он, — преступление судебное. Военные судьи, по принуждению своего начальства, или введенные им в обман, приговорили невинного к позорному и жестокому наказанию. Не говорите нам, что жертва не наш товарищ, что она принадлежит к касте, навсегда нам враждебной. Мы стоим, прежде всего, за общественную справедливость и не можем отнестись равнодушно ни к какому нарушению ее. Какой позор был бы для нас, если бы мы предоставили только радикалу Керданику, буржуа Коломбану да нескольким умеренным републиканцам преследовать преступление армии. Если жертва не принадлежит к числу наших братьев, то палачи те же, как и палачи наших товарищей, и, прежде чем напасть на военного, Гретока расстрелял наших товарищей стачечников. Товарищи, напрягите духовные и физические силы и вырвите Пиро из рук палачей! Свершая этот благородный подвиг, вы не отвлекетесь от революционного дела, составляющего вашу задачу, ибо Пиро сделался символом угнетенных, и все общественные несправедливости составляют одно целое. Уничтожая одну, мы поколеблем все другие.

Когда кончил Феникс, заговорил товарищ Сапор:

— Вам советуют отступить от своего дела, — начал он, — чтобы заняться тем, что вас совершенно не касается. Зачем вам впутываться в распрю, где вы встретите, к какой бы стороне ни примкнули, естественных, непримиримых, неизбежных врагов. Разве капиталисты менее ненавистны вам, чем военные? Чьи деньги хотите вы спасти: рыцарей банка или героев реванша? Лишь преступное и бессмысленное великодушие может заставить вас идти на помощь семистам пиротам, которые всегда будут вашими врагами в социальной войне! Вам предлагают играть роль полиции у ваших врагов и восстанавливать у них порядок, нарушенный их же преступлениями. Благородство, доведенное до такой степени, называется иначе. Товарищи, есть ступень, на которой

гнуемость становится смертоносной для общества. Пингвинская буржуазия задыхается в своей гнуемости, и вас зовут спастись ее, очистить воздух вокруг нее. Смеются над вами, что ли? Пусть она погибнет; мы будем злорадно присутствовать при ее последних судорогах, сожалея только, что она так глубоко раз'ела почву, на которой воздвигала свое здание, что оставила нам пропитанную заразой трясину для сооружения на ней нового общественного строя.

Когда Сапор кончил свою речь, товарищ Лаперсон произнес следующие несколько слов:

— Феникс призывает нас на помощь Пиро на том основании, что Пиро невинен. Мне кажется, что основание это весьма недостаточное. Если Пиро невинен, то значит он действовал, как полагается военному, то-есть добросовестно исполнял то, что составляет его ремесло, а именно, стрелять в народ. Этого недостаточно для того, чтобы народ защищал его, не останавливаясь ни перед какими опасностями. Пусть мне докажут, что Пиро виновен и что он действительно крал сено, нужное армии, тогда я пойду его освобождать.

После него заговорил товарищ Ларивэ.

— Я не согласен с моим другом Фениксом,—сказал он,—но не разделяю и взглядов друга моего Сапора. Я вовсе не думаю, что партия должна вступаться за всякого, чье дело правое. Боюсь, что тут происходит досадная игра слов и опасное недоразумение. Социальное правосудие вовсе не то же, что правосудие революционное. Они постоянно противоречат друг другу: служить одному, значит бороться против другого. Что касается меня, мой выбор сделан: я стою за правосудие революционное против правосудия социального. И все же в данном случае я стою за то, чтобы мы вмешались в дело Пиро. Если случай благоприятствует нам, создавая такое дело, то нужно быть дураками, чтобы им не воспользоваться. Подумайте. Нам дается возможность нанести милитаризму страшный, быть может, смертельный удар. А вы требуете, чтобы я стоял, скрестив руки! Предупреждаю вас, товарищи: я не факир и никогда не пристану к партии факиров. Если здесь есть факиры, пусть они не рассчиты-

вают на мою компанию. Созерцать свой пуп — политика, не приводящая ни к каким результатам, и я никогда не буду держаться ее. Партия, подобная нашей, должна постоянно проявлять себя, свидетельствовать о своем существовании непрерывной деятельностью. Мы вмешаемся в дело Пиро, но вмешаемся революционно. Мы будем оказывать воздействие силой. Неужели вы думаете, что сила—старый прием, устарелая выдумка, которую нужно сдать в архив вместе с дилижансами, ручными типографскими станками и воздушным телеграфом? Вы ошибаетесь. И теперь, как и прежде, ничего нельзя добиться иначе, как силой. Это единственное орудие, действительно обеспечивающее успех. Нужно только уметь им пользоваться. В чем выразится наше участие в деле? Я вам скажу: мы будем возбуждать правящие классы друг против друга, восстановим армию против капиталистов, правительство против магистратуры, аристократию и церковь против евреев, будем натравливать их друг на друга, побуждать их губить друг друга. Таким образом, мы будем поддерживать возбуждение, которое ослабляет правительство, как лихорадка истощает больных. Дело Пиро, если умело воспользоваться им, ускорит на десять лет рост социалистической партии и освобождение пролетариата путем разоружения, всеобщей забастовки и революции.

Когда каждый из главарей партии высказал, таким образом, особый взгляд, прения продолжались с большим оживлением. Ораторы, как всегда бывает в таких случаях, повторяли доводы, высказанные до того, но только не так последовательно и более резко, чем в первый раз. Долго спорили, и никто никого не убедил. Но в общем разногласие сводилось к двум основным мнениям—Сапора и Лаперсона, с одной стороны, которые советовали не впутываться в дело Пиро, и Феникса и Ларивэ, которые советовали принять участие в деле. Но и эти два противоположных мнения сливались в общей ненависти к военному начальству и к военному правосудию, и в общей вере в невинность Пиро. Общественное мнение, таким образом, не ошибалось, считая всех вождей социалистической партии опасными пиротами.

Что касается народных масс, от имени которых они говорили, представителями которых они были, поскольку слова могут представить несказанное, что касается самих пролетариев, мысль которых трудно угадать, потому что они сами себя не знают, то кажется, что дело Пиро их не интересовало. Оно было для них слишком литературным, слишком классическим, в тоне высшей буржуазии и денежной аристократии, совершенно им чуждом.

Глава VIII.

Процесс Коломбана.

Когда начался процесс Коломбана, пиротов было немногим более тридцати тысяч; но они были повсюду—даже среди духовенства и военных. Более всего им вредило сочувствие крупных евреев. Но зато их немногочисленность создавала им драгоценнейшие преимущества, как, например, то, что среди них было меньше дураков, чем среди противников. Составляя очень небольшую группу, они могли легко сговариваться, действовали единодушно, не чувствовали желания отделяться друг от друга и не мешали друг другу. Каждый из них чувствовал, что должен вести себя достойно, и действовал тем лучше, чем более был на виду. Словом, все давало им повод надеяться, что они приобретут новых приверженцев в то время, как число их противников, которые привлекли в свои ряды сразу толпы людей, теперь могло только уменьшаться.

На суде, в открытом заседании, Коломбан тотчас заметил, что его судьи совершенно лишены любопытства. Едва он раскрывал рот, председатель лишал его слова по высшим государственным соображениям. По той же причине, которая считается важнейшей и неоспоримой, не были заслушаны свидетели защиты. Генерал Пантер, начальник генерального штаба, предстал на суд в парадном мундире и во всех орденах. Он дал следующее показание:

— Гнусный Коломбан утверждает, что у нас нет улик против Пиро. Он жлет: у нас есть улики. В моих архивах

имеются семьсот тридцать два квадратных метра улик по пятисот килограммов каждая, что составляет триста шестьдесят шесть тысяч килограммов улик.

Затем генерал легко и изящно перечислил эти улики.

— Они всех цветов и всех оттенков,—сказал он, как самое существенное,—всевозможных форматов, самого большого формата великого орла, меньшого—«коломбье» и так далее. Самая маленькая занимает, по меньшей мере, квадратный миллиметр; самая большая величиной в семьдесят метров в длину на ноль целых и девять десятых в ширину.

При этом сообщении аудитория задрожала от ужаса.

За ним давал показание и Греток. Более простой и, быть может, более внушительный с виду, он был в поношенном сером пиджаке и говорил, заложив руки за спину.

— Я предоставляю,—сказал он спокойно, не возвышая голоса,—я предоставляю господину Коломбану нести самому ответственность за поступок, который привел нашу родину к краю гибели. Дело Пиро тайное, оно должно остаться тайным. Если бы его огласить, самые страшные бедствия, войны, грабежи, опустошения, пожары, избиения, эпидемии тотчас же обрушились бы на Пингвинию. Я считал бы себя предателем, если бы произнес еще хоть слово.

Несколько человек, известных своим политическим опытом, между прочими Бигур, нашли показание военного министра более искусным и более существенным, чем речь начальника штаба.

Большое впечатление произвело показание полковника Буажоли.

— Однажды на вечере в военном министерстве,—сказал полковник,—военный атташе одной соседней державы сообщил мне, что, посетив конюшни своего государя, он залюбовался необыкновенно мягким и благоуханным сеном нежно-зеленого оттенка. Такого сена он никогда не видывал. Откуда же получено это сено? спросил я его. Он мне не ответил, но происхождение этого сена не оставляло для меня сомнения. Это и было сено, украденное Пиро. Этот нежно-зеленый оттенок, эта мягкость и

аромат выдают наше национальное сено. Сено соседней державы серое, жесткое. Оно ломается под вилами и отдает пылью. Вывод ясен.

Полковник Гастен, представ на суд, заявил среди возмущенных возгласов публики, что он не считает Пиро виновным. Его тотчас же схватили жандармы и бросили в подвал, где, среди гадюк, жаб и червей, он не поддавался ни обещаниям, ни угрозам.

Судебный пристав вызвал: — Граф Пьер Мобек де-ля-Дандюлинкс.

Наступило гробовое молчание. К судейскому столу подошел свирепый и гордый граф; усы его грозно подымались к небу, и желтые зрачки метали искры.

Приблизившись к Коломбану, он поглядел на него с неизъяснимым презрением:

— Мое показание,—сказал он,—вот оно: сволочь!

Весь зал разразился восторженными рукоплесканиями и вскочил, об'ятый воодушевлением, которое подымает дух и зовет к необычным действиям. Не прибавив ни слова, граф Мобек де-ля-Дандюлинкс удалился.

Оставив вместе с ним зал заседания, все присутствующие последовали за ним. Распростершись у его ног, принцесса Босено страстно обнимала его колени. Он шел невозмутимый и мрачный под дождем дамских платочков и цветов. Виконтесса Олив, повиснув у него на шее, не могла от него оторваться, и спокойный герой унес ее, развевавшуюся на его груди, как легкий шарф.

Когда заседание, которое пришлось прервать, возобновилось, председатель вызвал экспертов.

Знаменитый эксперт почерков, Вермильяр,—изложил результаты своих исследований:

— Изучив внимательно,—сказал он,—бумаги, схваченные у Пиро, главным образом, его расходные книжки и счета от прачек, я убедился, что под банальной внешностью они составляют непроницаемую криптограмму. Но я нашел к ней ключ. Предательство негодяя обнаруживается в каждой строчке. На его условном языке слова «три кружки пива и двадцать франков Адели» означают: «я продал тридцать тысяч охапок сена соседней державе». По этим документам я даже смог установить

состав сена, проданного этим офицером. Оказалось, что слова: сорочка, жилет, кальсоны, носовые платки, воротнички, табак, коньяк, сигары означают клевер, мятлик, люцерну, синеголовник, овес, плевелы, душистый колосок, аржанец. И как раз эти ароматические растения входили в состав благоуханного сена, которое граф Мобек продал пингвинской кавалерии. Таким образом, Пиро заносил в книжки свои преступные деяния на языке, который казался ему навсегда непроницаемым. Нельзя не удивляться такому поразительному лукавству и такой наивности.

Коломбан, признанный виновным без смягчающих обстоятельств, приговорен был к высшей мере наказания. Присяжные тотчас же подписали прошение о применении к нему наибольшей строгости.

На Дворцовой площади, на берегу реки, которая была свидетельницей двенадцати веков великой истории, пятьдесят тысяч человек ждали с волнением приговора. Там неистовствовали главари союза антипиротов, среди которых выделялись принц Босено, граф Клена, виконт Олив, де-ла-Трюмель. Там толкались также отец Агарик и учителя школы святого Маэля со своими учениками. Монах Дуяр и генералиссимус Карагель стояли, обнявшись, образу трогательную группу, а по Старому Мосту бежали в суд рыночные торговки и прачки с кочергами, щипцами, щетками, котлами, с белильной водой. Перед бронзовыми воротами, на ступеньках собрались все защитники Пиро: профессора, публицисты, рабочие,—одни консерваторы, другие радикалы или революционеры,—и среди них выделялись своим небрежным костюмом и диким видом товарищи: Феникс, Ларивэ, Лаперсон, Дагобер и Варамбиль.

Затянутый в свой похоронный сюртук и надев свой церемонный цилиндр, Бидо-Кокиль славил Коломбана и подполковника Гастена, доказывая их величие сентиментально математическими доводами. На самом верху лестницы сияла улыбающаяся и грозная Манифлора, героическая куртизанка, жаждавшая заслужить памятник, как Леена, или, как Эпихарида,—похвалы историков.

Семьсот пиротов, переодетые в разносчиков, продав-

цов лимонада, в бродяг, подбирающих окурки, и в антипиротов, бродили вокруг обширного здания.

При появлении Коломбана поднялся такой шум, что птицы, сраженные сотрясением воздуха и воды, падали с деревьев, как подстреленные, а рыбы поднимались на поверхность воды, перевернувшись вверх животами. Со всех сторон кричали:

— В воду Коломбана! Утопить его!

Раздались также крики нескольких голосов:

— Да здравствует правосудие и истина!

Кто-то орал: — Долой армию!

Это послужило сигналом к страшной схватке. Сражающиеся падали тысячами и составляли своими нагроможденными телами живые ревущие курганы, на которых новые борцы хватили друг друга за горло. Пламенные, растрепанные, бледные женщины, скрежеща зубами, царапаясь ногтями, бросались на мужчин с бешенством, которое придавало их лицам среди бела дня на площади то очаровательное выражение, которое до этой минуты можно было подметить только иногда в тени полога на мягкой подушке. Они готовы были уже броситься на Коломбана, кусать его, душить, разрывать на части, отбивая друг у друга клочки его тела, как вдруг выступает Манифлора, высокая, целомудренная в своей красной тунике, спокойная и страшная, и при виде ее разъяренные женщины в ужасе отступают. Казалось, что Коломбан уже спасен. Его сторонникам удалось очистить ему дорогу через площадь и посадить его на извозчика, стоявшего на углу у Старого Моста. Лошадь уже помчалась было крупной рысью, как принц Босено, граф Клена и де-ла-Трюмель сбросили кучера с козел и, толкая лошадь назад большими колесами вперед, прижали ее к перилам моста, а оттуда свалили ее в реку при рукоплесканиях восторженной толпы. С звонким и свежим плеском вода брызнула снопом, потом осталась только легкая рябь на сверкающей поверхности реки.

Почти в ту же минуту товарищи Дагобер и Варамбиль при помощи семисот переодетых пиротов свалили принца Босено вниз головой на баржу-прачечную, куда он плачевно и провалился.

Ясная ночь спускалась на Дворцовую площадь, проливая мир и тишину на ужасные останки, покрывающие землю. А в трех километрах вниз по реке, под мостом, скорчившись, рядом с искалеченной клячей, весь промокший Коломбан размышлял о невежестве и несправедливости толпы.

— Дело Пиро,—сказал он себе,—еще более сложно, чем я полагал. Я предвижу новые затруднения.

Он поднялся, подошел к несчастной лошади:

— Что ты им сделала, бедняжка?—сказал он.—Ведь это они из-за меня так жестоко обошлись с тобой.

Он обнял шею несчастной лошади и поцеловал ее в белую звезду на лбу. Потом потянул за узду и, сам хромая, повел хроющую лошадь через спящий город к своему дому, где сон заставил их позабыть о людях.

Глава IX.

Отец Дуяр.

В своей бесконечной терпимости, по предложению общего отца всех верующих, епископы, каноники, священники, викарии и аббаты пингвинские решили отслужить молебен в соборе Альки и помолиться Божьему милосердию о прекращении смут, раздирающих одну из благороднейших стран христианского мира, и о прощении всей Пингвинии, кающейся в своих грехах перед небом и служителями алтаря.

Молебен был отслужен пятнадцатого июня. Генералиссимус Каргель занял почетное место, окруженный своим штабом. Публика была многочисленна и блестяща. По выражению Бигура, в церкви была и толпа и в то же время избранное общество. В первом ряду можно было заметить Бертозейля, канцлера, принца Крюшо. Около кафедры, с которой должен был говорить почтенный отец Дуяр, францисканец, стояли в благочестивой позе, скрестив руки на толстых набалдашниках своих палок, главари союза антипиротов,—виконт Олив, де-ла-Трюмель, граф Клена, герцог Ампуль, принц Босено. Отец Агарик сидел в хоре вместе с учителями и учени-

ками школы святого Маэля. У окон и справа у входа оставлены были места для офицеров и солдат в форме. Эта сторона считалась наиболее почетной, потому что Спаситель склонил голову вправо, умирая на кресте. Дамы высшей аристократии, и среди них графиня Клена, виконтесса Олив, принцесса Босено, заняли хоры. Средняя часть собора и паперть покрыты были двадцатью тысячами монахов всяческих одежд и тридцатью тысячами мирян.

После искупительных и умиловительных молитв отец Дуяр поднялся на кафедру. Сначала предполагалось, что проповедь будет произнесена отцом Агариком. Но всетаки его признали, при всех его достоинствах, не на высоте столь важных обстоятельств и предпочли ему красноречивого капуцина, который уже полгода проповедывал в казармах, громя врагов Бога и властей.

Отец Дуяр, избрав текст „*Deposuit potentes de sede*“, установил, что всякая земная власть исходит от Бога и приводит к Нему, и что она губит себя, уклоняясь от пути, предначертанного ей Провидением, и от цели, поставленной ей.

Применяя эти священные правила к пингвинскому правительству, он начертал страшные картины бедствий, которые правители этой страны не смогли ни предвидеть, ни предотвратить.

— Первого виновника стольких бедствий и такого позора,—сказал он,—вы все отлично знаете, братья мои. Это чудовище, в имени которого содержится пророчество его судьбы, ибо имя это происходит от греческого слова «пирос»—огонь. Божественная мудрость, будучи иногда и филологом, предупредила нас этой этимологией, что еврей зажжет пожар в стране, которая приютила его.

Отец Дуяр картинно изобразил, как отечество, угнетаемое преследователями церкви, восклицает на своей Голгофе: «О, скорбь! О, слава! Распявшие моего Бога, и меня распинают».

При этих словах дрожь охватила всех присутствующих.

Мощный оратор вызвал еще больший взрыв негодования, напомнив о гордом Коломбане, погруженном в

реку, воды которой не смогли омыть его преступлений. Оратор соединил воедино все унижения, все опасности, грозящие Пингвинии, чтобы поставить их в вину президенту республики и председателю совета министров.

— Этот министр,—сказал он,—совершил низкую подлость, не истребив семисот пиротов с их приверженцами и защитниками, как Саул истребил филистимлян в Гаваоне. Этим он выказал себя недостойным власти, которую вручил ему Господь, и всякий добрый гражданин может и должен поэтому презирать его жалкую власть. Небо будет благосклонно взирать на поносящих его. *Deposuit potentes de sede*. Господь свергнет малодушных вождей и заместит их мужами сильными, правящими во имя Его. Предупреждаю вас, господа, предупреждаю вас, офицеры, унтер-офицеры, солдаты, которые внимаете мне. Предупреждаю вас, генералиссимус пингвинских армий. Час настал! Если вы не послушаетесь велений Господа, если вы не свергнете во имя Его недостойных властителей, если вы не учредите в Пингвинии сильное и благочестивое правительство, Господь всетаки сокрушит осужденных им и всетаки спасет свой народ. Он спасет его без вас, через какого-нибудь скромного ремесленника или простого капрала. Час скоро минует. Торопитесь!

Возбужденные этим племенным воззванием, шестьдесят тысяч присутствовавших поднялись, дрожа от волнения. Раздались крики: «К оружию! К оружию! Смерть пиротам! Да здравствует Крюшо!» И все: монахи, женщины, солдаты, аристократы, буржуа, лакеи, повинувшись знаку мощной руки, благословлявшей их с кафедры, пропели гимн «Спасем Пингвинию», стремительно бросились из храма и направились вдоль набережной к палате депутатов.

Оставшись один в опустевшем храме, мудрый Корнеюз, подняв руки к небу, пробормотал разбитым голосом:

— *Agnosco fortunam ecclesiae pingui canae!* Ясно вижу, куда все это нас приведет.

Нападение священной толпы на законодательный дворец было отбито.

Под натиском полицейских осаждающие бросились

бежать, когда примчавшиеся из предместий товарищи, под предводительством Феникса, Дагобера, Лаперсона и Варамбиля, бросились на них и довершили их поражение. Де-ля-Трюмеля и Ампуля стащили в участок. Принц Босено, после мужественного сопротивления, упал на окровавленную мостовую с раскроенным черепом.

Упоенные победой товарищи, в сопровождении множества газетчиков, ходили всю ночь по бульварам, нося в руках триумфальным шествием Манифлору, разбивая окна в кафе и фонари с криками: «Долой Крюшо! Да здравствует социальная республика!» Антипироты в свою очередь ходили следом за ними, опрокидывая газетные киоски и столбы с афишами.

Зрелище, которое не могли бы одобрить благоразумные люди и способное огорчить начальство, заботливое до хорошего состояния мостовых и улиц. Но для людей с чутким сердцем всего грустнее был вид черных ряс, которые из осторожности держались на одинаковом расстоянии от обоих лагерей, и, несмотря на очевидную трусость и эгоизм, хотели, чтобы удивлялись великодушию их чувств и душевному благородству. Они натирали себе глаза луком, выпячивали губы, громко сморкались и говорили из глубины живота, скорбно вздыхая: «О, пингвины, прекратите ваши братоубийственные распри, перестаньте терзать сердце вашей матери!» Точно люди могут жить общественной жизнью без споров и распри, и точно гражданские войны не необходимое условие национальной жизни и развития культуры. Эти жалкие лицемеры хотели мирить правых с неправыми, оскорбляя этим правых в их правоте, а неправых в их отваге. Один из них, богатый и мощный Машимель, величественный в своей низости, стоял над городом, как статуя скорби; слезы образовали у ног его рыбные пруды, где вздохи опрокидывали лодки рыболовов.

Во время этих бурных ночей, на верхушке своего старого пожарного насоса, под ясным небом, в то время как падающие звезды отпечатлевались на фотографических пластинках, Бидо-Кокиль ликовал в глубине своего сердца. Он боролся за справедливость; он любил и был любим высокой любовью. Клеветы и оскорбления преисполняли

его радостью. В газетных киосках были выставлены карикатуры на него рядом с карикатурами на Коломбана, Керданика и полковника Гастена. Антипироты сообщали, что он получил пятьдесят тысяч франков от еврейских капиталистов. Репортеры военных листов осведомлялись о его научном значении у официальных ученых, отрицали у него всякое понятие о звездах, доказывая, что все его наблюдения неверны, открытия не имеют значения, опровергая его самые остроумные и плодотворные гипотезы. Он радовался над лестными ударами ненависти и зависти.

Глядя на расстилавшийся у его ног мрак, в котором мелькало множество огней, не думая о том, сколько ночь, спускающаяся над большим городом, таит в себе тяжелых снов, мучительных бессонниц, тщетных надежд, испорченных удовольствий и бесконечно разнообразного горя,—он думал: «В этом огромном городе правда с кривдою ведут ожесточенную борьбу».

Заменяя сложную и будничную действительность простой и пышной поэзией, он представлял себе дело Пиро в виде борьбы добрых и злых ангелов. Он верил в торжество детей света и радовался тому, что он сам сын дня, побивающий детей ночи.

Глава X.

Член суда Шоспье.

Ослепленные до этих пор страхом, неосторожные и тупые республиканцы прозрели, наконец, увидав шайки капущина Дуяра и сторонников принца Крюшо; поняли, наконец, истинный смысл дела Пиро. Депутаты, которых в течение двух лет заставлял бледнеть рев патриотической толпы, не сделались более отважными, но изменили характер своей трусости и стали обвинять министерство Робена Медоточивого в беспорядках, которым сами потворствовали и виновников которых несколько раз поздравляли с успехом. Они упрекали министерство, что оно поставило в опасное положение республику своей сла-

бостью, которая на самом деле была их слабостью, их уступчивостью, ими же навязанной. Некоторые из них стали сомневаться, не выгоднее ли верить в невинность Пиро, чем в его виновность, и с этой минуты стали терзаться мыслью, что, быть может, несчастного осудили несправедливо, и он искупает в своей воздушной клетке преступления других. «Мне эта мысль не дает спать!»—сообщил по секрету нескольким членам большинства министр Гильомет, который мечтал занять место своего начальника.

Эти благородные законодатели свергли министерство, и президент республики заменил Робена Медоточивого вечным республиканцем с окладистой бородой, по имени Ла-Тринитэ, который, как и большинство пингвинов, понятия не имел о деле Пиро, но находил, что в нем, действительно, замешано слишком много монахов.

Генерал Грето, прежде чем покинуть министерство, сделал последнее распоряжение начальнику главного штаба Пантеру.

— Я уйду, а вы остаетесь,—сказал он, пожимая ему руку.—Дело Пиро—мое детище. Я вам его поручаю; оно достойно моей любви и вашего попечения; оно прекрасно. Не забудьте только, что красота его ищет тени; ей нужна тайна; она не хочет снимать покровов. Щадите ее стыдливость. Уже слишком много нескромных взглядов осквернили ее прелести... Пантер, вы желали улики и добыли их; у вас их много; у вас их слишком много. Я предвижу нежелательные вмешательства и опасное любопытство. На вашем месте я бы изорвал все эти папки с уликами. Поверьте, лучшая улика—это отсутствие улики. Это единственно неоспоримо.

Увы, генерал Пантер не понял мудрости этих советов. Будущее вполне подтвердило проницательность Грето. Едва вступив в заведывание министерством, Ла-Тринитэ потребовал документы по делу Пиро. Пениш, его военный министр, отказался дать их во имя высших интересов национальной обороны и сообщил ему, что бумаги по делу Пиро, находящиеся в ведении генерала Пантера, составляют обширнейший архив в мире. Ла-Тринитэ изучил дело, как мог, и, даже не особенно углубляясь, заподозрил в нем неправильности. Тотчас же, согласно своим правам

и прерогативам, он потребовал пересмотра. Тогда Пениш, его военный министр, обвинил его в оскорблении армии, в измене отечеству и швырнул ему свой портфель. Его заменили другим военным министром, который поступил точно так же, а за ним последовал третий, последовавший примеру своих предшественников. Все дальнейшие военные министры, числом до семидесяти, поступали как их предшественники, а почтенный Ла-Тринитэ стонал, заваленный воинственными портфелями. Семьдесят первый военный министр, Ван-Жюлеп, остался на своем посту. Не то чтобы он расхохотался в убеждениях с множеством своих благородных товарищей, но они же поручили ему благородно предать председателя совета министров, покрыть его позором и обратиться пересмотр к славе Грето, к удовлетворению антипиротов, на пользу монахов и для восстановления принца Крюшо.

Генерал Ван-Жюлеп, одаренный высокими военными качествами, не был достаточно умен, чтобы следовать остроумной и тонкой политике Грето. Он полагал, как и генерал Пантер, что нужны осязательные доказательства против Пиро, что доказательств этих нужно как можно больше, и что сколько бы их ни было, этого все-таки еще недостаточно. Он изложил свой взгляд начальнику генерального штаба, который вполне одобрил его.

— Пантер,—сказал он,—наступает минута, когда нам нужны будут улики без числа.

— Слушаюсь, генерал,—ответил Пантер.—Я пополню мой архив.

Полгода спустя улики против Пиро заполнили два этажа военного министерства. Пол провалился под тяжестью папок, и рассыпавшиеся улики задавили своим потоком двух начальников отделений, четырнадцать столоначальников и шестьдесят служащих в экспедиции, которые работали в нижнем этаже над изменением обуви стрелковых полков. Пришлось подпереть снаружи стены огромного здания.

Прохожие с удивлением увидели огромные балки, чудовищные подпоры, прислоненные вкось к фасаду министерства, теперь совершенно распавшемуся. Балки эти

стесняли движение колясок и пешеходов; а что касается автобусов, то они неминуемо разбивались вместе с пассажирами об это препятствие.

Судьи, осудившие Пиро, были не настоящие судьи, а военные. Судьи, осудившие Коломбана, были действительные судьи, но мелкие. В черных балахонах, как жалкие церковные служки, они были бедняками судейского сословия, голодными мелкими судьишками. Над ними высидись большие судьи, носившие красные плащи с горностаевой опушкой. Прославленные своим знанием и своими толкованиями законов, они составляли суд, гловное название которого выражало высшую власть. Суд этот назывался кассационным, чтобы показать, что он, как молот, может дробить постановления и решения других судебных инстанций.

Один из красных судей, членов высшей инстанции, по имени Шоспье, вел в предместьи Альки скромную и спокойную жизнь. Он был чист душой, честен и справедлив. Кончив свои дела, он играл на скрипке и взращивал гиацинты. По воскресеньям он обедал у своих соседок, девиц Гельбивор. Он был крепкий, улыбающийся старик, и друзья любили его за его обходительность.

Но вот уже несколько месяцев, как он сделался раздраженным и хмурым. Когда он раскрывал газету, его розовое и полное лицо горестно передергивалось и багровело от гнева. Причиной этого был Пиро. Член суда Шоспье не мог понять, как офицер мог совершить столь гнусный поступок и продать восемьдесят тысяч охапок казенного сена соседней и враждебной нации. Еще более неиз'яснимым казалось ему, что такой преступник мог найти защитников в Пингвинии. Мысль, что на его родине существуют такие люди, как Пиро, полковник Гастен, Коломбан, Керданик, Феникс, отравляла ему его гиацинты, его скрипку, небо и землю, всю природу и обеды у девиц Гельбивор.

Министр юстиции перенес дело Пиро в высшую инстанцию, и как раз члену суда Шоспье поручили рассмотреть это дело и найти ошибки процедуры, если таковые были сделаны. Шоспье, при всей своей неподкупной честности и долгой привычке беспристрастно исполнять свой судейский долг, все-таки ожидал найти в представлен-

ных ему документах доказательства несомненной вины и явного предательства. После всяческих затруднений и многократных отказов со стороны генерала Ван-Жюлепа, Шоспье получил бумаги для просмотра. Когда их разобрали и зарегистрировали, их оказалось четырнадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч триста двенадцать номеров. Изучая их, он сначала удивился, потом был изумлен, озадачен, и, наконец, с ним произошло какое-то чудесное превращение. Он нашел среди бумаг объявления модных магазинов, газеты, модные картинки, мешки из бакалейных лавок, старые деловые письма, школьные тетради, бумаги, дорожные чехлы, шершавую бумагу для чистки полов, игральные карты, шесть тысяч экземпляров сонника, но не нашел ни одного документа, где была бы речь о Пиро.

Глава XI.

Заключение.

Приговор по делу Пиро был отменен, и Пиро выпустили из его клетки. Но антипироты не признали себя побежденными. Военные судьи устроили вторичный суд над Пиро. В этом втором процессе Греток превзошел самого себя. Он добился вторичного осуждения, заявив, что улики, представленные на кассационный суд, ничего не стоили, настоящих же нельзя представить, так как они секретны. По мнению знатоков, он никогда не обнаруживал столько таланта. При выходе из залы суда, когда он проходил среди любопытных через вестибюль, заложив руки за спину, на него бросилась женщина, вся в красном, с лицом, покрытым черной вуалью, потрясая кухонным ножом.—Смерть негодяю!—крикнула она.

Это была Манифлора. Прежде чем присутствующие поняли, что происходит, генерал схватил ее за руку и с наружной мягкостью так сжал ей руку, что нож выпал из руки.

Он поднял его и передал Манифлоре.

— Сударыня, — сказал он, кланяясь, — вы уронили предмет хозяйственного обихода.

Несмотря на его заступничество, героиню все-таки отвели в участок. Но по его настоянию ее тотчас же освободили, и он употребил все свое влияние, чтобы прекратить преследование.

Вторичное осуждение Пиро было последней победой Гретока.

Член кассационного суда Шоспье, который прежде так любил солдат и так преклонялся перед их правосудием, был теперь взбешен против военных судей, кассировал все их приговоры с проворством обезьяны, щелкающей орехи. Он вторично оправдал Пиро. Если бы было нужно, он оправдал бы его пятьсот раз.

Взбешенные своей собственной слабостью и тем, что их так ловко провели, республиканцы обратились против монахов и священников. Депутаты издали законы об их изгнании, об отделении церкви от государства и отнятии у них имущества. Случилось то, что предвидел отец Корнемюз. Благочестивого монаха изгнали из конильского леса. Казна конфисковала его перегонные кубы и реторты, и ликвидаторы поделили между собой бутылки ликера святой Орберозы. Благочестивый водочник потерял при этом три с половиной миллиона франков ежегодного дохода, которые доставляла ему его маленькая торговля. Отец Агарик отправился в изгнание, предоставив свою школу мирским рукам, которые ее привели в запустение. Отделенная от кормившего ее государства, пингвинская церковь засохла, как сорванный цветок.

Одержав победу, защитники невинного Пиро стали ссориться между собой и осыпать друг друга оскорблениями и клеветами. Пылкий Керданик бросился на Феникса, готовый его растерзать. Крупные евреи и семьсот пиротов с презрением отвернулись от товарищей социалистов, у которых прежде униженно просили помощи.

— Мы вас больше не знаем,—говорили они.—Оставьте нас в покое с вашей социальной справедливостью. Социальная справедливость—это защита богатств.

Избранный депутатом, и став во главе нового большинства, товарищ Ларивэ сделался председателем совета и выказал себя энергичным защитником военных судов, осудивших Пиро. Когда его прежние товарищи социали-

сты стали требовать больше свободы и больше справедливости по отношению к государственным служащим, а также к рабочим, он выступил против их предложения и произнес следующую сильную речь:

— Свобода,—сказал он,—не то же самое, что своеволие. Я сделал выбор между порядком и беспорядком; революция—это бессилие; у прогресса нет более страшного врага, чем насилие. Силой нельзя ничего добиться. Господа, те, которые, подобно мне, желают реформ, должны прежде всего успокоить волнение, которое ослабляет правительство, как лихорадка истощает больных. Пора успокоить честных людей.

Речь была покрыта аплодисментами. Правление республики оставалось под контролем больших финансовых предприятий, армия занималась исключительно защитой капитала, единственное предназначение флота была доставка металлургических заказов. Богатые отказывались платить налоги, бедные платили за них, как и прежде.

Меж тем, с вышины своего старого пожарного насоса, в присутствии ночных светил, Бидо-Кокиль с грустью созерцал заснувший город. Манифлора покинула его. Горя жаждой новых самопожертвований, новой преданности она отправилась вместе с одним молодым болгаринцем в Софию, чтобы водворять там правосудие и мщение. Он не жалел о ней, так как после процесса Пиро она казалась ему уже не столь прекрасной телом и духом, как он воображал ее себе раньше. В том же смысле изменились его представления и его суждения о многих других делах и мнениях. И—что для него было печальнее всего—он и сам казался себе теперь менее великим и менее прекрасным, чем воображал прежде.

И он думал:

«Ты считал себя возвышенным, а на самом деле ты был только наивен и желал добра. Чем ты гордился, Бидо-Кокиль? Тем, что раньше других понял, что Пиро невинен, а Гретока негодяй? Но три четверти защитников Гретока против нападения семисот пиротов знали это лучше тебя. Дело было не в этом. Чем же ты был так горд? Тем, что смело высказывал свое мнение? Это гражданское мужество, а оно, как и военная храбрость, прямое следствие

неосторожности. Ты был неосторожен. В этом нет ничего дурного, но чрезмерно хвалиться нечем. Неосторожность твоя была маленькая и подвергала тебя посредственным опасностям; ты не рисковал головой. Пингвины утратили ту жестокую и кровожадную гордость, которая некогда придавала трагическое величие их революциям. Это роковое следствие ослабления веры и характеров. Нужно ли тебя рассматривать, как выдающийся ум только за то, что ты в одном частном вопросе выказал больше проницательности, чем толпа? Напротив, я боюсь, что ты, Бидо-Кокиль, не доказал большого понимания условий умственного и нравственного развития народов. Ты воображал, что общественные несправедливости нанизаны как бусы, и что стоит выдернуть одну, чтобы вся нить рассыпалась. Это очень наивное представление. Ты надеялся восстановить сразу правосудие на твоей родине и во всем свете. Ты действовал как добрый человек и честный идеалист, без особенной экспериментальной философии. Но, вникни в самого себя и ты увидишь, что ты действовал не без лукавства и в своей наивности несколько хитрил. Ты обдeldывал выгодное нравственное дельце. Ты говорил себе: «Вот я буду справедлив и благороден один раз. После того я смогу успокоиться, окруженный общим почетом и хвалами историков». А теперь, когда ты потерял все свои иллюзии, теперь, когда ты знаешь, как трудно восстановить справедливость, и как всегда приходится начинать сначала, ты возвращаешься к своим звездам. Ты прав. Но вернись к ним со скромностью, Бидо-Кокиль!»



КНИГА СЕДЬМАЯ.

НОВЕЙШИЕ ВЕКА, МАДАМ ЦЕРЕС.

„Выносим только крайности“.
Граф Робер де-Монтескье.

Глава I.

Салон мадам Кларанс.

Мадам Кларанс, вдова республиканского сановника, любила принимать: она собирала у себя по четвергам друзей, занимавших скромное общественное положение, которые любили беседовать. Женщины, появлявшиеся у нее в салоне, очень разного возраста и разного общественного положения, нуждались в деньгах и много страдали в жизни. В числе их была герцогиня, похожая на гадалщицу, и гадалщица, похожая на герцогиню. Мадам Кларанс, достаточно красивая, чтобы сохранить старые связи, не могла, однако, уже заводить новых и мирно пользовалась общим уважением. У нее была дочь, очень хорошенькая, но бесприданница, которой гости мадам Кларанс побаивались, потому что пингвины, как огня, боялись бедных барышень. Эвелина Кларанс замечала их сдержанность, понимала причину ее и разливала чай с презрительным видом. Она, впрочем, редко появлялась на приемах и разговаривала только с дамами или с очень молодыми людьми. Ее короткие появления не стесняли гостей в разговоре: они думали, что в качестве молодой девушки она ничего не понимает или же, что, так как ей двадцать пять лет, она может все слышать.

Итак, однажды в четверг в салоне мадам Кларанс говорили о любви. Дамы говорили с гордостью, осторожностью и таинственностью, мужчины откровенно и с фатовством, причем каждого интересовало только то, что он сам говорил. Все старались проявить остроумие. Произносились блестящие афоризмы и острые возражения. Но когда начал рассуждать профессор Гаддок, он всем надоел.

— Наше представление о любви, как и обо всем остальном,—сказал он,—основывается на прежних привычках, о которых изгладилось даже воспоминание. В вопросах нравственности, предписания, потерявшие всякий смысл, обязательства, самые бесполезные ограничения, наиболее вредные и тяжелые, в виду своей глубокой древности и таинственности своего происхождения, оказываются наименее опорными и даже наименее способными возбуждать спор, наименее исследованными, наиболее почтенными, и которые нельзя нарушить не подвергнув себя строжайшему осуждению. Так, например, нравственность, касающаяся отношения полов, основывается на том принципе, что женщина, приобретенная мужчиной, становится его собственностью, его имуществом, как лошадь и как оружие. А так как это перестало быть верным, то получают такие нелепости, как брак, то-есть договор о продаже женщины мужчине с ограничительными вставками относительно права собственности, введенными вследствие постепенного ослабления собственника. Требование от девушки, чтобы она приносила супругу девственность, относится ко времени, когда девушки выходили замуж, едва достигнув зрелости. Смешно, чтобы девушка, которая выходит замуж в двадцать пять или тридцать лет, подчинялась тому же требованию. Вы скажете, что это дар, который будет лстить ее супругу, если она найдет такового. Но мы видим на каждом шагу, что мужчины добиваются любви замужних женщин, и кажутся довольными обладать ими в любом состоянии. До сих пор еще нравственный долг девушек определяется в религиозной морали старым верованием, что Бог, самый могущественный из всех военных вождей, многоженец, что он прибегает для себя всех девственников, и что другим

достается только то, что он им оставляет. Это верование, следы которого сохранились в образном языке церковной мистики, теперь исчезло у большинства культурных народов. Но оно продолжает быть в силе относительно воспитания девушек, не только у наших верующих, но и у свободомыслящих, которые чаще всего думают свободно только потому, что они совсем не думают. Мудрость означает знание, ученость. Но о девушке говорят, что она мудра, когда она ничего не знает. Ее невежество лелеют. Но, несмотря на все старания, самые мудрые и целомудренные девушки кое-что знают, потому что нельзя скрыть от них ни их собственной природы, ни их собственных физических состояний, ни их ощущений. Но они плохо знают, знают вкрявь и вкось. Вот что достигается заботливым воспитанием...

— Господин профессор,—прервал его с мрачным видом Жозеф Бутурлэ, главный сборщик податей в Альке,—уверю вас, что есть абсолютно невинные девушки, и это большое несчастье. Я знал трех таких. Они вышли замуж: это было ужасно. Одна из них, когда ее муж приблизился к ней, в ужасе соскочила с постели и стала кричать в окно: «На помощь!! Этот господин сошел с ума!» Другую нашли на утро после ее свадьбы в рубашке в зеркальном шкапу, откуда она ни за что не хотела сойти. Третья была столь же изумлена, но выносила все, не жалуясь. Только через несколько недель после свадьбы она шепнула своей матери: «Между моим мужем и мной происходит нечто столь неслыханное, столь невообразимое, что я не решилась бы даже тебе об этом рассказать». Чтобы не лишиться спасения души, она открыла все своему духовнику и только от него узнала, быть может, с некоторым разочарованием, что во всем этом нет ничего необычайного.

— Я заметил, — начал снова профессор Гаддок, — что все европейцы вообще, а пингвины в частности, прежде чем они стали интересоваться спортом и автомобилями, ничем так много не занималось, как любовью, придавая слишком много значения тому, что его мало имеет.

— Как, — воскликнула мадам Кремер, задыхаясь от

возмущения, — когда женщина отдает всю себя, это по вашему не имеет значения?

— Нет, сударыня! это может иметь свое значение, — ответил профессор Гаддок, — но нужно еще знать, обретает ли тот, кому она отдается, очаровательный сад или грядку, заросшую чертополохом. И к тому же не слишком ли злоупотребляют словом отдаваться? В любви, например, женщина скорее уступает, чем отдается. Взгляните на прекрасную мадам Пансэ....

— Это моя мать! — сказал высокий молодой блондин

— Я ее бесконечно уважаю, — возразил профессор Гаддок. — Не беспокойтесь, — я не скажу о ней ничего хоть сколько-нибудь оскорбительного. Но позвольте заметить вам, что вообще мнения сыновей об их матерях не выдерживают никакой критики. Они совершенно забывают, что мать только потому становится матерью, что она любила, и что, следовательно, она может и в будущем тоже любить. А между тем это так, и было бы печально, если бы было иначе. Я заметил, что дочери не обманываются относительно того, что их матери способны любить и что они пользуются этой способностью. Дочери смотрят глазами соперниц.

Несносный профессор еще долго говорил, прибавляя неприличия к неловкостям, дерзости к невежливостям, нагромождая нелепости на нелепости, презирая то, что почтенно, и уважая то, что презренно. Но никто его не слушал.

Тем временем, сидя в своей простой без очарования комнате, в комнате, опечаленной отсутствием любви и холодной, как все комнаты молодых девушек, похожие на место для ожидания, Эвелина Кларанс рассматривала годовые отчеты клубов и благотворительных обществ, чтобы ознакомиться с светским обществом. Уверенная, что ее мать, замкнувшись в кругу интеллигентных и бедных людей, не сумеет создать ей положение в свете, она решила сама поискать более благоприятную для себя среду. Она шла спокойно и упрямо к своей цели, не питая никаких иллюзий, не предаваясь мечтам, принимая замужество только как вступление в игру и билет на свободный доступ всюду, а также отлично созна-

вая, как много трудностей и как много риска в ее предприятии. У нее было чем правиться, и она была достаточно холодна, чтобы пользоваться своими средствами. Слабость ее заключалась в том, что ее ослепляло все имеющее аристократический вид. Оставшись наедине с матерью, она сказала:

— Мама, мы завтра пойдем к отцу Дуяра.

Глава II.

Общество святой Орберозы.

Отец Дуяр собирал на своих проповедях по пятницам, в девять часов вечера, в аристократической церкви Святого Маэля, избранное общество Альки. Принц и принцесса Босено, виконт и виконтесса Олив, мадам Бигур, де-ля-Трюмель и его жена не пропускали ни одной пятницы. Там бывал цвет аристократии, а также блистали прекрасные еврейские баронессы, потому что все еврейские баронессы в Альке были крещеными.

Цель этих собраний, как и всяких религиозных собраний, заключалась в том, чтобы дать светскому обществу случай подумать о спасении души, а также чтобы призвать на все эти благородные и знатные семьи благословение святой Орберозы, которая любит пингвинов. Отец Дуяр преследовал с истинно апостольским рвением свою цель: восстановить святую Орберозу в ее прерогативах заступницы Пингвинии и воздвигнуть ее имени монументальную церковь на одном из холмов, высиющихся над городом. Блестящий успех увенчал его старания, и для осуществления национального предприятия он собрал более ста тысяч приверженцев и более двадцати миллионов франков.

Новая рака святой Орберозы, сверкающая золотом и драгоценными камнями, окруженная свечами и цветами, стоит в хоре церкви Святого Маэля.

Вот что сказано по этому поводу в «Истории чудес покровительницы Альки» аббата Плантена:

«Старинная рака была переплавлена во время террора, а драгоценные останки святой брошены в костер, зажженный на площади Грэв. Но одна бедная женщина, очень

благочестивая, по имени Рукен, отправилась ночью с опасностью для жизни и собрала обожженные кости и пепел блаженной. Она сохранила все это в банке из-под варенья и, после восстановления национальной церкви, отнесла останки священнику церкви Святого Маэля. Благодетельная женщина мирно дожила свой век, получив должность продавщицы церковных свечей и отдавая стулья в наем в часовне святой Орберозы.

Несомненно, что при отце Дуяре, в период упадка веры, культ святой Орберозы, павший уже целых триста лет, благодаря критике каноника Принсето и молчанию ученых богословов, снова воскрес и был окружен большей пышностью и великолепием, чем когда-либо. Теперь богословы не отказывались ни от одной иоты преданий. Они считали совершенно несомненными все факты, приводимые аббатом Симплисиссимусом, и утверждали, основываясь на словах этого духовного писателя, что дьявол, под видом монаха, унес святую в пещеру и боролся, пока она не восторжествовала над ним. Они не стеснялись ни местом, ни годами, избегали всяких толкований и остерегались согласований с наукой, чем занимался некогда каноник Принсето. Они слишком хорошо знали куда это ведет.

Церковь сверкала огнями и цветами, оперный тенор пел знаменитый гимн святой Орберозы.

О, дева рая,
Сойди средь ночи с вышины!
Предстань, сияя
Лучами кроткими луны!

Эвелина Кларанс стала рядом со своей матерью перед виконтом Клена и долго стояла на коленях, ибо молитвенная поза подобает скромным девушкам и обрисовывает линии тела.

Отец Дуяр вошел на кафедру. Он был сильный оратор. Он умел трогать, изумлять, волновать. Женщины жаловались только, что он слишком сурово восстает против пороков и делает это в резких выражениях, которые заставляют краснеть. Но все же они его очень любили.

Он говорил в своей проповеди о седьмом искушении

святой Орберозы. Ее соблазнил дракон, на бой с которым она вышла. Но она не поддалась ему и обезоружила чудовище.

Оратор легко доказал, что, с помощью святой Орберозы и вооружаясь добродетелями, которые она нам внушает, мы в свою очередь победим драконов, бросающихся на нас, чтобы нас пожрать: дракона сомнения, дракона безбожия, дракона забвения религиозного долга. Отсюда он вывел, что общество, посвятившее себя культу святой Орберозы, приведет к духовному возрождению страны. Он закончил пламенным призывом к «верующим, которые желают стать орудиями божественного милосердия, столпами и кормильцами общества святой Орберозы, доставляя средства, нужные ему для того, чтобы воспрять и быть плодотворным» *).

После проповеди отец Дуяр оставался в ризнице к услугам верующих, желающих получить более точные сведения об обществе святой Орберозы или внести свою лепту. Мадемуазель Кларанс нужно было сказать несколько слов отцу Дуяру; виконту Клена тоже. Перед ризницей толпилась публика, нужно было стать в очередь. По счастливой случайности, виконт Клена и Эвелина Кларанс очутились рядом, слегка прижатые друг к другу. Эвелина обратила внимание на этого молодого человека, изящного, почти столь же известного, как и его отец, в спортсменских кругах. Клена, в свою очередь, заметил Эвелину и, так как она показалась ему хорошенькой, он поклонился ей, потом извинился, сказав, что, кажется, он был представлен ей и ее матери, но что не помнит где. Обе дамы сделали вид, что им кажется то же самое.

На следующей неделе он сделал визит мадам Кларанс, которую считал немного сводней, что ему было скорее приятно. Увидав Эвелину, он убедился, что не ошибся, и что она действительно, очень хорошенькая.

У виконта Клена был самый замечательный автомобиль в Европе. Три месяца он катал на нем Эвелину и ее мать каждый день по холмам и долинам, по лесам

*) См. Ernest-Charles, „Censeur“, май-авг. г. 1907, стр. 562, столб. 2.

и полям. Они ездили вместе в разные замки. Он говорил Эвелине все, что можно сказать, и старался понравиться ей. Она не скрывала, что любит его, что будет всегда его любить и никого кроме его не полюбит. Она сидела рядом с ним, взволнованная и серьезная. Но порывы роковой страсти сменялись у нее, когда нужно было, неподвижным сопротивлением добродетели, сознающей опасность. Через три месяца после того, как он без конца возил ее вверх и вниз по горам и бесчисленное количество раз останавливался с нею при порче автомобиля во время дороги, он знал ее как руль своей машины — но не иначе. Он придумывал сюрпризы, приключения, вдруг останавливался среди леса или перед ночными кабаками, но это дела не двигало. Он говорил себе, что это глупо, и в бешенстве снова усаживал ее в автомобиль, от злости делал по ста двадцати километров в час, готовый вывалить ее в ров или разбиться вместе с нею, налетев на дерево.

Однажды он заехал за ней, чтобы увезти ее на прогулку, и она казалась ему еще прелестнее, чем он думал, еще соблазнительнее. Он налетел на нее, как ураган на тростник у пруда. Она с очаровательной слабостью сломилась и раз двадцать чуть-чуть не была унесена, вырвана, разбита дыханием грозы — и двадцать раз ускользала, гибкая и проворная. После стольких падений она оставалась такой, точно только легкий ветерок прошелся по ее нежному стебельку; она улыбалась, как бы готовая подчиниться смелой руке. Тогда несчастный обидчик, растерянный, взбешенный, почти обезумевший, убежал, чтобы не убить ее. Ошибившись дверью, он попадает в спальню, где мадам Кларанс надевала шляпу перед зеркальным шкапом, и, схватив ее, повалил на кровать и овладел ею прежде, чем она заметила, что с ней произошло.

В тот же день Эвелина навела справки и узнала, что у виконта Клена, кроме долгов, ничего нет, что он живет на средства старой кокетки и вводит в моду новые марки фабриканта автомобилей. Они расстались по взаимному соглашению, и Эвелина снова стала с недовольным лицом разливать чай гостям своей матери.

Глава III.

Ипполит Церес.

В салоне мадам Кларанс говорили о любви, и говорили о ней очаровательные вещи.

— Любовь — жертва, — со вздохом проговорила мадам Кремер.

— Вполне вам верю, — поспешил подтвердить Бутурлэ.

Но доктор Гаддок снова стал выкладывать свои неспасные и негодные мысли.

— По моему, — сказал он, — пингвинки напрасно так носятся с тем, что, по милости Святого Маэля, они сделались живородными. Этим нечего гордиться. Это преимущество они разделяют с коровами и со свиньями и даже с апельсиновыми и лимонными деревьями, ибо зерна этих растений развиваются в околоплоднике.

— Высокомерие пингвинок не столь далекого происхождения, — возразил Бутурлэ. — Оно началось с того дня, когда святой апостол дал им одежды; и даже после того гордость пингвинок не проявлялась в течение долгого времени; она усилилась с развитием роскоши туалета и то в небольшом кругу общества. Пойдите летом на поле во время жатвы, всего за две версты от Альки, и вы увидите, очень ли там женщины дорожат собою и лелеются.

В этот день в салон мадам Кларанс ввели Ипполита Цереса. Он был депутат от Альки и один из самых молодых членов палаты. Говорили, что он сын кабатчика, но сам адвокат, хорошо говорит, большого роста, внушительного вида и считается ловким человеком.

— Господин Церес, — сказала ему хозяйка дома, — вы представляете в палате самую красивую часть Альки.

— И к тому же она становится все более и более красивой.

— К несчастью, там теперь невозможно ходить, — воскликнул Бутурлэ.

— Почему? — спросил Церес.

— Да из-за автомобилей.

— Не ругайте автомобили,—возразил депутат.—Это наша крупнейшая национальная промышленность.

— Я знаю. Теперешние пингвины напоминают мне древних египтян. Египтяне, как говорит Тэн, ссылаясь на Клементия Александрийского, слова которого он, впрочем, искажил, поклонялись крокодилам, которые их пожирали. Так и пингвины поклоняются автомобилям, которые их дают. Конечно, будущее принадлежит этому металлическому зверю. К извозчикам не вернутся, как не вернулись к дилижансу. Долгому мученичеству лошади наступают конец. Автомобиль, выпущенный безумной жадностью фабрикантов, как колесница Яжерна, на растерянный народ, сделался для снобов, для праздных людей, предметом нелепой и пагубной роскоши. Но он вскоре перейдет к выполнению своей естественной функции, будет служить всем и сделается покорным и работающим чудовищем. Но для того, чтобы он перестал вредить и сделался благотельным, нужно построить ему дороги, соответствующие его ходу, устойчивые мостовые, чтобы жесткие шины не разрывали их, подымая ядовитую пыль в человеческие груди. Нужно будет не пускать на эти новые дороги другие экипажи менее быстрого хода, устроить запасные пути и мостки для пешеходов,—словом, внести порядок в будущие способы передвижения. Таково пожелание доброго гражданина.

Мадам Кларанс снова перевела разговор на украшения округа, представленного Цересом, и он стал восхищаться ломкой, пробивкой новых улиц, постройкой, перестройкой и всякими другими полезными строительными работами.

— Теперь замечательно хорошо строят,—сказал он.—Всюду появляются величественные аллеи. Можно ли себе представить что-либо более прекрасное, чем наши мосты с пилонами и отели с куполами?

— Вы забываете большой дворец, покрытый огромным колпаком,—проворчал с глухим бешенством Данизэ, старый любитель искусства.—Я поражен необычайным уродством, которого можно достигнуть в современном городе. Алька приобретает американский вид. Всюду

уничтожают то, что еще осталось свободного, неожиданного, гармоничного, человеческого, традиционного. Всюду уничтожают такую прелесть, как старые стены, над которыми перегибаются ветви. Всюду изгоняют воздух и свет, уничтожают уголки природы, то, что еще осталось как воспоминание о наших отцах, часть нас самих, и на месте всего этого воздвигают дома—страшные, огромные, гнусные, покрытые, на венский манер, смешными куполами или пригнанные к новому стилю, без резьбы, без пластики, с мрачными выступами и смешными крышами. На фасадах извиваются какие-то отвратительные шипки, которые носят название нового искусства. Я видел новое искусство в других странах. Это не плохо. В нем чувствуется добродушие и фантазия. Только у нас строятся самые уродливые и уродливые на разный, самый новый, манер здания. Завидное преимущество!

— Не боитесь ли вы—строго спросил его Церес,—не боитесь ли вы, что такого рода горькие осуждения могут отвратить от нашей столицы иностранцев, которые съезжаются со всех концов света и оставляют здесь миллиарды?

— Будьте спокойны,—ответил Данизэ.—Иностранцы приезжают не за тем, чтобы восхищаться нашими зданиями. Они приезжают ради наших кокоток, наших портных и наших кафе-шантанов.

— У нас плохая привычка,—вздыхнул Церес,—клеветать на самих себя.

Мадам Кларанс, как хорошая хозяйка, решила, что зора вернуться к разговору о любви, и спросила одного из гостей, Жюмеля, какого он мнения о недавно вышедшей книге, в которой Леон Блюм жалуется, что в силу совершенно бессмысленного предрассудка, светские барышни не имеют права предаваться любви, хотя бы они и желали этого, в то время, как продажные женщины чрезмерно занимаются любовью, и без всякого удовольствия.

— Это, действительно, прискорбно,—заметил профессор Гаддок.—Но Леон Блюм напрасно так огорчается. Если, быть может, то зло, которое он изобличает, и су-

ществует в мелко-буржуазном обществе, я могу уверить его, что повсюду в других кругах он увидел бы более утешительное зрелище. В народе, среди огромного населения городов и деревень, девушки не лишают себя любовных наслаждений.

— Но это безнравственно!—воскликнула мадам Кремер.—И она стала восхвалять невинность молодых девушек в скромных и нежных выражениях. Это было очаровательно.

Напротив того, то, что говорил профессор Гаддок на ту же тему, было тяжело слушать.

— Светских молодых девушек,—сказал он,—очень охраняют. К тому же, мужчины не стремятся обладать ими из честности, из боязни страшной ответственности и еще потому, что соращение молодой девушки не сделало бы им большой чести. Нужно прибавить, что вовсе не так известно, что происходит, так как нельзя видеть того, что скрыто. Тайна—необходимое условие для существования всякого общества. Светские молодые девушки были бы более доступны, чем замужние женщины, если бы мужчины добивались их благосклонности. И это по двум причинам: у них больше иллюзий, а любовь к ним их не удовлетворено. Замужние женщины в большинстве случаев так недовольны первым опытом с мужем, что у них не хватает смелости сейчас же начать все с другим. Могу вам сказать по собственному опыту, что я несколько раз наталкивался на это препятствие в моих попытках соблазнять женщин.

В то время как профессор Гаддок кончал свою неприятную речь, Эвелина Кларанс вошла в салон и стала разносить чай с выражением скуки, которая придавала восточное обаяние ее красоте.

— Что касается меня, — сказал Ипполит Церес, глядя на нее,—то я объявляю себя рыцарем молодых девушек. «Он дурак»,—подумала Эвелина.

Ипполит Церес, который не имел знакомств вне своих политических кругов, никого не знал, кроме избирателей и избираемых, находил салон мадам Кларанс очень порядочным, хозяйку дома очаровательной, дочь ее прекрасной какою то странной красотой. Он стал часто

у них бывать и ухаживал за матерью и за дочерью. Мадам Кларанс, которая ценила теперь внимательное отношение к себе, находила его приятным. Эвелина не поощряла его и обращалась с ним высокомерно и презрительно. Он приписывал это ее светскости и хорошим манерам и еще более восхищался ею.

Он пользовался своими связями, чтобы доставлять им разные развлечения, и ему это иногда удавалось. Он доставал им билеты на интересные заседания в палате и ложу в оперу. Благодаря ему, мадемуазель Кларанс несколько раз имела случай блистать в многолюдных собраниях, в особенности на одном сельском празднике, который, хотя и был устроен министром, считался очень светским и доставил республике в первый раз одобрение лучшего общества.

На этом празднике Эвелина, очень всеми замеченная, привлекла внимание молодого дипломата, по имени Роже Ламбилли, вообразившего, что она принадлежит к легкому обществу, и назначившего ей свидание в своей холостой квартире. Она нашла его красивым и думала, что он богат. Она пошла к нему. Несколько взволнованная, почти смущенная, она чуть не сделалась жертвой его смелости и избежала падения только ловкой защитой, смело произведенной ею. Это был самый безумный поступок ее девичьей жизни.

Войдя в близкое знакомство с министрами и президентом, Эвелина подчеркивала свою аристократичность и набожность, чем завоевала симпатии сановников антиклерикальной и демократической республики. Ипполит Церес, видя, что она правится и делает ему честь, стал еще более ею увлекаться и влюбился в нее, наконец, до безумия. Тогда она стала наблюдать за ним с некоторым интересом. Ей хотелось видеть, усиливается ли его чувство. Он казался ей не элегантным, не особенно тактичным, плохо воспитанным, но деятельным, ловким, умелым и не очень скучным. Она смеялась над ним, по он ее интересовал. Однажды она захотела испытать его чувство.

В то время происходила выборная кампания, и Церес добивался возобновления своего мандата. У него был

конкурент, не особенно опасный вначале, плохой оратор, но человек богатый, который приобретал с каждым днем все больше и больше голосов. Ипполит Церес, не оставаясь спокойным, но не преувеличивая опасности, удвоил свою бдительность. Главным его орудием борьбы были митинги, на которых он нападал на соперника всеми силами своих легких. Его комитет устраивал большие собрания с прениями по вечерам в субботу и по воскресеньям, ровно в три часа дня. Однажды в воскресенье, зайдя к мадам Кларанс, он застал Эвелину одну в зале. Он говорил с ней минут двадцать или двадцать пять, когда вдруг, вынув часы, увидел, что уже три четверти третьего. Молодая девушка сделалась любезной, дразнящей, грациозной, волнуемой, полной обещаний. Церес, взволнованный, поднялся.

— Еще минутку! — сказала она ему настойчивым и нежным голосом, заставившим его снова опуститься на стул.

Она проявила интерес, слабость и любопытство. Он краснел, бледнел, но опять поднялся.

Тогда, чтобы удержать его, она взглянула на него своими помутневшими серыми глазами и стала прерывисто дышать, не произнося ни слова.

Побежденный, потерянный, уничтоженный, он упал к ее ногам. Потом, еще раз вынув часы, он вскочил и отчаянно выругался:

— Чорт возьми, без пяти четыре! Я едва успею доехать.—И в ту же минуту выскочил на лестницу.

С этого времени она стала питать к нему некоторое уважение.

Глава IV.

Женитьба политического деятеля.

Она его почти любила, но хотела, чтобы он ее любил. Она продолжала держаться с ним очень сдержанно, но не только потому, что не питала к нему никаких чувств: в любви многое делается равнодушно, почти рассеянно, в силу женского инстинкта, по привычке и традиции,

чтобы испытать свою силу и иметь удовольствие видеть ее результаты. Причина ее благоразумия была другая. Она считала его человеком бесцеремонным и очень себе на уме; он способен был воспользоваться ее уступчивостью и потом грубо упрекать ее, если она не захочет продолжать. Так как он был по профессии антиклерикал и атеист, она сочла нужным выставить при нем на показ набожные привычки, появлялась с молитвенниками в красном сафьяне, большого формата, вроде «Пасхальной недели» королевы Марии Лещинской и Марии-Жозефины, и показывала ему постоянно собираемые ею пожертвования для поддержки национального культа святой Орберозы. Эвелина делала это не для того, чтобы его дразнить, не из шаловливости или из духа противоречия и даже не из снобизма, хотя она и не была чужда его. Она этим путем утверждала свою личность, выказывала силу характера, возвышала себя, чтобы возбудить храбрость депутата, окружала себя религиозностью и, как Брунгильда, окружила себя пламенем для привлечения Сигурда. Ее смелость удалась. Он еще больше восхищался ею. Ее клерикализм казался ему изысканностью.

Избранный вновь огромным большинством, Церес сделался членом палаты, которая обнаруживала тяготение влево, будучи более крайней, чем предшествующая, и более склонной, казалось, к реформам. Заметив тотчас же, что за этим большим рвением таится боязнь перемен и искреннее желание ничего не делать, Церес решил следовать политике, которая соответствует этому настроению. В самом начале сессии он произнес большую речь, умело построенную, доказывая в ней, что всякая реформа нуждается в долгой подготовке. Он говорил очень горячо, даже кипятился, считая, что оратор должен призывать к умеренности с величайшей горячностью. Вся палата единодушно ему аплодировала. В президентской трибуне его слушала Эвелина и ее мать. Эвелина невольно вздрогнула при торжественном гуле рукоплесканий. Сидя рядом с ней, красавица мадам Пансэ трепетала при звуках этого мужественного голоса.

Спустившись с трибуны, Ипполит Церес, даже не переменяв рубашки, в то время, как еще раздавались ап-

лодисменты и требования расклейки его речи по городу, пошел в трибуну, где сидела Эвелина. Она нашла его похорошевшим от успеха. В то время как он, склонившись к ней и матери, скромно, но не без оттенка фатовства, выслушивал их похвалы, вытирая себе шею платком, молодая девушка взглянула в сторону мадам Пансэ и увидела, что она вдыхает с опьянением пот героя, едва дыша с полужакрытыми тяжелыми веками, откинув голову назад, готовая лишиться сознания. Эвелина тотчас же нежно улыбнулся Цересу.

Речь депутата Альки имела шумный успех. В политических сферах его очень хвалили за умение взять верный тон. «Вот, наконец, честный язык», — писала одна умеренная газета. — «Эта речь, — целая программа», — говорили в палате. Все единодушно признавали в нем огромный талант.

Ипполит Церес считался теперь желательным лидером в кругу радикалов, социалистов, антиклерикалов, которые избрали его председателем своей группы, самой значительной в палате. Ему предназначали портфель в ближайшем министерстве.

После долгого колебания Эвелина Кларанс примирилась с мыслью выйти замуж за Ипполита Цереса. Этот великий человек был, по ее мнению, несколько вульгарен. Ничто еще не доказывало, что он достигнет когда-нибудь положения, в котором политика дает много денег. Но ей шел двадцать седьмой год, и она достаточно знала жизнь; она понимала, что не нужно быть слишком разборчивой и слишком требовательной.

Ипполит Церес был знаменит. Ипполит Церес был счастлив. Он сделался неузнаваем. Элегантность его костюма и его манер страшно возросла. Он преувеличенно носил белые перчатки. Его чрезмерная светскость заставляла Эвелину задумываться, не большее ли это зло, чем недостаточная элегантность. Мадам Кларанс была довольна помолвкой дочери; будущность Эвелины казалась ей обеспеченной этим браком, и ей было так же приятно, что каждый четверг присылались цветы ей в салон.

Празднование свадьбы вызвало, однако, затрудне-

ния. Эвелина была набожна и желала получить благословение церкви. Ипполит Церес, терпимый в вопросах веры, но все же сам атеист, допускал только гражданский брак. По этому поводу происходили споры и даже раздирательные сцены. Последняя из этих сцен произошла в комнате молодой девушки, уже тогда, когда собирались рассылать пригласительные письма. Эвелина заявила, что если их не благословят в церкви, она не будет считать себя венчаной. Она говорила, что предпочитает порвать, уехать за границу с матерью, уйти в монастырь. Потом она взяла нежный тон, стала умолять, рыдать. И все в ее девичьей комнате рыдало вместе с нею, кропильница и ветки букуса над ее белой постелью, священные книги на маленькой этажерке, а на мраморном камине — белая с синим статуэтка святой Орберозы, сковывающей каппадокийского дракона. Ипполит Церес был растроган, покорен. Прекрасная в своей скорби, с блестящими от слез глазами, обвинив вокруг рук четки из лапис-лазури, и как бы скованная цепями своей веры, она вдруг бросилась к ногам Ипполита и стала обнимать его колени, обессиленная, с распущенными волосами.

Он почти уступил ей и пробормотал:

— Церковный брак, свадьба в церкви... мои избиратели, быть может, и примирились бы с этим, но мой комитет не так-то легко пойдет на это... Конечно, я им объясню... веротерпимость, общественные обязательства... Они ведь посылают своих дочерей учиться Закону Божьему... Ну, а что касается моего портфеля, то, кажется, милая моя, мы потопим его в святой воде...

При этих словах она поднялась с серьезным лицом, в свою очередь побежденная.

— Друг мой, я не настаиваю, — сказала она.

— Так, значит, обойдемся без церкви! Так куда лучше будет.

— Предоставьте все это мне. Я постараюсь устроить так, чтобы мы оба были довольны.

Она отправилась к отцу Дуяру и рассказала ему о положении дел. Он выказал большую податливость, чем она ожидала.

— Ваш супруг умный человек, — сказал он, — и сторонник порядка. Он сам придет к нам. Вы освятите его. Не напрасно Господь дал ему христианскую супругу. Церковь не всегда требует для освящения брака пышности торжественных церемоний. Теперь, когда она в загоне, сумрак подземелий и катакомб более приличествует ее таинствам. Поэтому, когда вы исполните гражданские формальности, приходите сюда, в мою часовню, в простом выходном туалете с господином Цересом. Я обвенчаю вас, соблюдая полную тайну. Я возьму сам разрешение у архиепископа и устрою все, что нужно, относительно оглашений, свидетельства об исповеди и т. д.

Ипполит, хотя и считал эту комбинацию несколько опасной, все же принял ее, чувствуя себя польщенным.

— Я пойду в пиджаке, — сказал он.

Но все-таки надел черный сюртук, белые перчатки, лакированные башмаки и даже опускался на колени.

Глава V.

Министерство Визир.

Семейство Церес поселилось со скромной простотой в довольно хорошенькой квартире нового дома. Церес спокойно и откровенно обожал свою жену. Но ему часто приходилось отлучаться из дому, так как он работал в бюджетной комиссии, а больше трех ночей в неделю он проводил над своим докладом о почтовом бюджете, желая им прославиться. Эвелина находила мужа грубоватым, но он ей скорее нравился. Неприятной стороной их положения было то, что у них не было достаточно денег, их было очень мало. Слуги республики вовсе не так обогащаются на общественной службе, как принято думать. С тех пор, как нет монарха, распределяющего милости, всякий берет, сколько может, и грабительство каждого ограничено грабительством других, остается довольно скромным. Этим и объясняется строгость нравов, замечаемая у главарей демократии. Они могут обогащаться только в период крупных дел, и тогда им на-

чинают завидовать менее удачливые товарищи. Ипполит Церес предвидел в ближайшем будущем оживление в деловом мире. Он был одним из тех, которые готовили это оживление. И в ожидании лучшего, он с достоинством выносил бедность, от которой Эвелина, разделяя ее, страдала менее, чем можно было подумать. Она была в постоянных сношениях с отцом Дуяром и ходила в часовню святой Орберозы, где встречала солидное общество людей, способных оказать ей услуги. Она умела их выбирать, доверяя лишь тем, которые действительно заслуживали этого доверия. Она приобрела опыт со времени катаний в автомобиле виконта Клена и преимуществу замужней женщины.

Цереса сначала беспокоила ее набожность, над которой посмеивались мелкие демагогические газеты. Но вскоре он успокоился, заметив, что все вожди демократической партии очень рады сближению с аристократией и с церковью.

Наступил как раз один из тех периодов (они повторялись часто), когда правительство стало замечать, что зашло слишком далеко. Ипполит Церес умеренно с этим соглашался. Его политика не была политикой преследования, а политикой терпимости. Он установил ее основы в великолепной речи о подготовке реформ. Министерство считалось слишком крайним. Поддерживая законопроекты, угрожающие капиталу, оно имело против себя все крупные капиталистические предприятия и, следовательно, газеты всех направлений. В виду возрастающей опасности кабинет отказался от своих проектов, от своей программы, от своих мнений, но было слишком поздно; уже было готово новое министерство. Поль Визир выступил с предательским вопросом, сейчас же принявшим форму запроса, и после прекрасной речи Ипполита Цереса министерство пало.

Президент республики выбрал для составления нового министерства этого же самого Поля Визира, который, несмотря на свою молодость, был уже два раза министром, этого очаровательного человека, завсегдастая балета и театральных кулис, чрезвычайно светского, с тонким художественным вкусом, остроумного, талантливого

и необыкновенно деятельного. Поль Визир составил кабинет, задачей которого была приостановка крайних тенденций с целью успокоить взволнованное общественное мнение. Ипполит Церес призван был в состав этого министерства.

Новые министры, принадлежавшие ко всем группам большинства, представляли собой самые разнообразные партии, но были все умеренного образа мыслей и убежденные консерваторы *). Из прежнего кабинета остался только министр иностранных дел, маленький черный человек, по имени Кромбиль; он работал по четырнадцать часов в сутки, одержимый манией величия, молчаливый, таивший все даже от своих собственных дипломатических агентов, страшно подозрительный, но никому не внушавший подозрений, потому что непредусмотрительность народов беспредельна, а непредусмотрительность правительства равна ей.

Министерство общественных работ досталось социалисту, Фортюнэ Лаперсону. Одним из самых строгих, неизменных и, скажу даже, самых ужасных и жестоких обычаев политики было поручение министерства, предназначенного для борьбы с социализмом, члену социалистической партии, чтобы собственность и капитал преследовал всегда, к их позору и поречи, кто-нибудь из их же товарищей, и чтобы, являясь на собрания, он всегда искал взглядом того, который завтра будет бороться против них. Только глубокое непонимание человеческого сердца могло породить сомнение в возможности легко найти социалиста на этот пост. Гражданин Фортюнэ Лаперсон вступил в кабинет Визира добровольно, без всякого принуждения. И многие одобрили его за это даже из его прежних друзей; так велико было обаяние власти в глазах пингвинов.

Генерал Дебоннэр получил военный портфель. Он

*) Так как это министерство оказало довольно значительное влияние на судьбы страны и всего мира, мы считаем необходимым перечислить имена лиц, вошедших в состав его: министр внутренних дел и председатель совета министров — Поль Визир; министр юстиции — Пьер Бук; иностранных дел — Виктор Кромбиль; финансов — Террасон; народного просвещения — Лабильет; торговли, почт и телеграфов — Ипполит Церес; земледелия — Олак; общественных работ — Лаперсон; военным министром стал генерал Дебоннэр; морским — адмирал Вивье де-Мюрен.

считался одним из самых умных генералов в армии; но им помыкала дама легкого поведения, баронесса Бильдерман; она же, сохраняя красоту в возрасте, когда женщинам пора заниматься только интригами, состояла на жаловании у соседнего враждебного государства.

Новый морской министр, почтенный адмирал Вивье де-Мюрен, всеми признанный, как отличный моряк, проявлял набожность, которая показалась бы чрезмерной в антиклерикальном министерстве, если бы мирская республика не считала религию полезной для развития морского дела. По внушению отца Дуяра, своего духовника, почтенный адмирал Вивье де-Мюрен отдал флотский экипаж под покровительство святой Орберозы и заказал христианским поэтам канты в честь святой девственной заступницы Альки, которые исполнялись вместо национального гимна оркестром военного министерства.

Министерство Визир заявило себя антиклерикальным, но терпимым. Оно выказывало умеренно-реформаторские стремления. Поль Визир и его сотрудники желали реформ, и для того, чтобы не повредить этим реформам, они их не предлагали; обладая действительной политической мудростью, они знали, что предложить реформы значит повредить им. Этот кабинет вызвал общие симпатии, успокоил честных граждан и поднял ренту.

Новое министерство объявило о заказе четырех броненосцев, выступило с преследованиями социалистов и объявило твердую решимость отвергнуть подходящий налог. Назначение министром финансов Террасона особенно одобрялось большими газетами. Террасон, старый министр, знаменитый биржевыми спекуляциями, оправдывал все надежды финансистов и позволял надеяться на большее оживление в делах. Действительно, вскоре налили молоком богатства три соса современных наций: монополизация, ажиотаж и дутые спекуляции. Уже пошли слухи об экспедициях в далекие страны, о колонизациях, и наиболее смелые журналисты говорили о проекте военного и финансового протектората над Нигрицией.

Не выказав еще вполне своей силы, Ипполит Церес

считался человеком талантливым; в деловом мире его уважали. Его со всех сторон поздравляли с тем, что он порвал с крайними партиями, с опасными союзниками, а также с тем, что у него есть сознание государственной ответственности.

Мадам Церес одна блистала среди министерских дам. Кромбиль был холостяк, Поль Визир богато женился, породнившись с крупным коммерсантом северных провинций, на девице Блампинон, хорошо воспитанной, богатой, простой, почтенной, всегда больной. Ее слабое здоровье заставляло ее подолгу жить у ее матери в провинциальной глуши. Другие министерские жены не были рождены, чтобы ласкать взор. Нельзя было без улыбки читать, что мадам Лабильет была на балу у президента с эгреткой из перьев райской птицы. Жена адмирала Вивье де-Мюрена была из хорошей семьи, небольшого роста, очень толстая, с багровым лицом, с голосом разносчика и сама ходила на рынок. Генеральша Дебоннэр — длинная, сухая, с красным лицом, была ненасытна в своих увлечениях молодыми офицерами и была так распутна и порочна, что пользовалась уважением только благодаря своему уродству и своей наглости.

Мадам Церес была очарованием министерства и обеспечивала ему общее уважение. Молодая, красивая, безупречная, она соединяла, чаруя собой, и избранное общество и толпу изяществом туалетов и чистотой улыбки.

Ее салоны наполнились вскоре высшим еврейским финансовым обществом. Ее *garden parties* были самыми элегантными в республике. Газеты описывали ее туалеты, и большие портные не брали с нее денег за них. Она ходила в церковь, защищала против враждебности толпы часовню святой Орберозы и будила в аристократических сердцах надежду на новый конкордат.

У нее были золотые волосы, серые, как лен, глаза; тонкая, стройная, она была действительно хороша собою и пользовалась безупречной репутацией, которую сохранила бы, благодаря своему уму, спокойствию и умению владеть собою, вплоть до момента, когда ее застigli на месте преступления.

Сессия закончилась победой министерства, которое

отклонило, при почти единодушных рукоплесканиях палаты, проект подоходного налога, а также торжеством мадам Церес, которая принимала у себя трех королей, проездом навестивших Альку.

Глава VI.

Кушетка фаворитки.

Председатель совета министров пригласил во время каникул Ипполита Цереса с женой погостить у него две недели в горах, в маленьком замке, который он нанял на лето и в котором жил один. Действительно слабое здоровье мадам Поль Визир не позволило ей сопровождать мужа. Она осталась у родителей в глубине северной провинции.

Замок этот принадлежал некогда любовнице одного из последних королей Альки. В салоне осталась прежняя мебель и между прочим кушетка фаворитки. Местность была очаровательна; красивая синяя река Эзель протекала у подножия холма, на котором стоял замок. Ипполит Церес любил удить рыбу. Предаваясь этому однообразному занятию, он придумывал наилучшие парламентские комбинации и самые вдохновенные ораторские приемы. В Эзели водилась в изобилии форель, и он удил ее с утра до вечера в лодке, которую председатель совета поспешил предоставить в его полное распоряжение.

Эвелина и Поль Визир беседовали иногда вдвоем в салоне или выходили пройтись по саду. Эвелина хотя и понимала обаяние, которое Поль Визир имел в глазах женщин, но все же кокетничала с ним лишь очень поверхностно и урывками, без глубоких намерений и определенного плана. Он был знаток женщин и считал ее красивой. Зимой парламент и опера отнимали у него весь досуг, но в маленьком замке серые, как лен, глаза и тонкая талия Эвелины приобретали ценность в его глазах. Однажды, когда Ипполит Церес удил рыбу, Поль Визир усадил Эвелину около себя на кушетку фаворитки. Сквозь щели занавесей, защищавших ее от зноя

яркого солнечного дня, длинные золотые лучи падали на Эвелину, точно стрелы спрятанного Амура. Под белой кисеей линии ее тела, округленные и тонкие, вырисовывались во всей своей молодой и изящной красоте. У нее была свежая мягкая кожа, пахнувшая скошенным сеном. Поль Визир вел себя так, как требовали обстоятельства; она не уклонялась от игры случая и приятного соседства. Она думала, что это совсем не важно, или, во всяком случае, не очень важно: она ошиблась.

«На городской площади,—говорится в одной знаменитой немецкой балладе,—на солнечной стороне, на стене, обвитой зеленью, висела хорошенькая сумка для писем, синяя, как василек, спокойная и улыбающаяся.

«Каждый день к ней подходили торговцы в тяжелых сапогах, богатые фермеры, бюргеры, сборщики податей и жандармы и опускали в нее деловые письма, счета, повестки о внесении налога, рапорты судьям и записки о призыве рекрутов: сумка оставалась спокойной и улыбающейся.

«Радостные или печальные шли к ней батраки и рабчие, служанки и мамки, конторские служащие, хозяйки с младенцами на руках. Они опускали в нее известия о рождениях, о свадьбах и о смерти, письма женихов и невест, жен и мужей, матерей к сыновьям, сыновей к матерям: сумка оставалась спокойной и улыбающейся.

«Под вечер юноши и молодые девушки тайком пробирались к ней и опускали в нее любовные письма, одни мокрые от слез, другие с маленьким кружком, чтобы показать место поцелуя, и все очень длинные: сумка оставалась спокойной и улыбающейся.

«Богатые купцы приходили сами из осторожности в час вынимания писем и опускали в сумку денежные пакеты, письма с пятью красными печатями, в письмах этих лежали банковые билеты и чеки на большие банки в государстве: сумка оставалась спокойной и улыбающейся.

«Но молодой Гаспар, которого она никогда не видела и никогда не знала, опустил в нее записочку, о которой ничего неизвестно, кроме того, что она была сложена в

виде маленькой шляпы. Хорошенькая почтовая сумка лишилась чувств от счастья и упала. С тех пор ей не терпится на своем месте. Она бежит по улицам, полям и лесам, увенчанная плющем и розами. Она вечно в пути, и полевой сторож застал ее в поле в объятиях Гаспара, которого она целовала в губы».

Поль Визир совершенно овладел своими мыслями, но Эвелина продолжала лежать на кушетке фаворитки, погруженная в прелестное изумление.

Отец Дуяр, большой знаток богословской морали, сохранивший твердость принципов и во времена упадка церкви, был совершенно прав, когда говорил, сообразно с учением святых отцов, что если женщина грешит, отдаваясь за деньги, то грех ее становится еще большим, когда она отдается без вознаграждения. В первом случае она заботится о том, чтобы поддержать свою жизнь; в таких случаях ее можно, если не оправдать, то простить, и она остается достойной попрежнему Господнего милосердия, ибо Господь запретил самоубийство и не желает, чтобы его создания, из которых каждое храм Господний, сами себя истребляли. К тому же, отдаваясь для пропитания, она остается смиренной и не испытывает удовольствия, что уменьшает грех. Но женщина, которая отдается даром, испытывая при этом наслаждение, наслаждается грехом. Гордыня и наслаждения, которыми она усугубляет свой грех, увеличивают его смертельную тяжесть.

Пример мадам Ипполит Перес вполне подтверждал глубину этих нравственных истин. Она почувствовала, что обладает чувственностью; до тех пор она об этом не думала, и одно мгновение открыло это ей, изменило ее душу, перевернуло жизнь. Сначала было волшебное научиться узнать самое себя. «Познай самого себя», это правило древней философии вовсе не доставляет наслаждения, осуществляясь в области духа, потому что нет никакого удовлетворения в познании своей души. Совсем другое дело познание своей плоти, в которой нам могут открыться источники сладострастия. Эвелина тотчас по-

чувствовала к своему просветителю такую благодарность, точно он оказал ей величайшее благодеяние, и воображала, что только открывший ей небесные бездны и обладает ключом от них. Ошиблась ли она, и не нашлось ли бы других, владеющих тоже золотым ключом? Это трудно решить. Профессор Гаддок, когда все факты раскрылись (мы увидим, что это не замедлило случиться), осветил этот вопрос с экспериментальной точки зрения в специальном научном журнале и пришел к заключению, что шансы, которые имела бы мадам Ц... найти точное подобие господина В... составляют пропорцию 3,05 на 975,008. Другими словами, она не могла бы его найти. Очевидно, она это инстинктивно чувствовала, потому что безумно привязалась к нему.

Я передал эти факты со всеми обстоятельствами, которые, по моему, заслуживают внимания мыслящих философских умов. Кушетка фаворитки достойна исторического величия; здесь решались судьбы великого народа; мало того, на ней свершилось то, что должно было отозваться на соседних народах, дружественных и враждебных, и на всем человечестве. Слишком часто такого рода события, хотя и бесконечно важные, ускользают от поверхностных умов, от легкомысленных людей, которые неосмотрительно берутся за писание истории. Вот почему от нас скрыты тайные пружины событий, вот почему нас удивляет падение империй, переход власти из одних рук в другие. Мы не понимаем событий, потому что не открыли незаметной точки, не коснулись тайной пружины, которая, будучи приведена в действие, все распатала и все опрокинула. Автор этой большой истории знает лучше чем кто-либо свои недостатки и свои слабости, но он должен отдать себе справедливость, что всегда сохранял меру и строгость, которая нужна для изложения государственных событий, и никогда не уклонялся от серьезности, подобающей рассказу о человеческих действиях.

Глава VII.

Первые последствия.

Когда Эвелина сообщила Полю Визиру, что никогда не испытала ничего подобного, он ей не поверил. Он хорошо знал женщин и знал, что они часто говорят это мужчинам, чтобы разжечь их страсть. Таким образом, чрезмерная опытность, как это часто случается, была причиной того, что он проглядел правду. Не веря, но все же польщенный, он вскоре почувствовал к ней любовь, и даже больше того. Это чувство вначале благоприятно повлияло на его умственные способности. Визир произнес в главном городе своего округа необычайно умную, блестящую и удачную речь, которая признана была его шедевром.

Возобновление парламентской сессии прошло мирно. Едва-едва кое-какие отдельные недоброжелатели или честолюбцы пробовали поднять голову.

Одной улыбки председателя совета достаточно было, чтобы рассеять эти тучи.

Он и она видались по два раза в день, а в промежутках писали друг другу. Он был опытен в любовных делах и умел притворяться. Но Эвелина выказывала безумную неосторожность. Она появлялась с ним в салонах, в театре, в палате и в посольствах. Ее любовь видна была на ее лице, во всем ее существе, во влажном блеске глаз, в томной улыбке губ, в порывистом дыхании, в мягком движении бедер, во всей ее красоте, которая казалась теперь возбужденной и страстной. Вскоре все узнали об их связи... Об ней были извещены иностранные дворы; не знали о ней только президент республики и муж Эвелины. Президент узнал о ней, уехав в деревню, из полицейского рапорта, как-то попавшего в его чемодан.

Ипполит Церес, не будучи ни очень дальновидным, ни слишком чутким, заметил, однако, что наступила какая-то перемена в его семейной жизни. Эвелина, которая прежде всетаки интересовалась его делами и выка-

зывала ему если не нежность, то все же дружбу, теперь проявляла только равнодушие и неприязнь. Она и прежде надолго уходила из дома и проводила целые часы в обществе святой Орберозы. Но теперь она уходила с утра, проводила вне дома весь день и садилась обедать в девять часов вечера с видом сомнамбулы. Муж находил это смешным, но все-таки, быть может, никогда ничего не узнал бы. Полное незнание женщин, слепая вера в себя и в свое счастье навсегда бы скрыли от него правду, если бы любовники не заставили его, так сказать, открыть их связь.

Когда Поль Визир отправлялся к Эвелине и заставлял ее одну, они говорили, целуясь: «Не здесь! Не здесь!» и сейчас же переходили на крайне сдержанный тон. Это было их ненарушимым правилом. Однажды Поль Визир отправился к своему товарищу Цересу, с которым у него было условлено свидание. Встретила его Эвелина, так как министр почти не вернулся еще в «лоно семьи» из какой-то комиссии.

— Не здесь! — с улыбкой сказали любовники. Они произнесли это, уста в уста, прижавшись всем телом друг к другу. Они продолжали еще шептать эти слова, как Ипполит Церес вошел в залу.

Поль Визир не потерял присутствия духа, он сказал мадам Церес, что он, повидимому, не может вынуть ей соринку из глаза. Этим объяснением он не обманул мужа, но сделал возможным приличный уход.

Ипполит Церес растерянно опустился на кресло. Поступок Эвелины казался ему непостижимым. Он стал спрашивать у нее объяснения.

— Почему? Почему? — без конца повторял он. — Почему?

Она все отрицала не для того, чтобы убедить мужа — он их видел, — но для удобства, имея достаточно вкуса, чтобы избежать неприятных объяснений.

Ипполит Церес испытывал все муки ревности. Он не скрывал этого от себя и говорил: «Я сильный человек. Я ношу броню на себе, но рана под нею: она в сердце».

И, обратившись к жене, сияющей красотой своего пре-

ступления и радостью любви, он печально поглядел на нее и сказал: — С ним ты не должна была бы...

Он был прав. Эвелине не следовало бы любить члена министерства.

Он так страдал, что схватил револьвер с криком: я его убью! Но он сообразил, что министру почти не подобает убивать председателя совета, и положил револьвер в ящик ночного столика.

Недели протекали, не уменьшая его страданий. Каждое утро он надевал на свою рану броню сильного человека и искал в работе и почестях успокоения, которое бежало его. Он каждое воскресение открывал бюсты, статуи, фонтаны, артезианские колодцы, госпитали, аптеки, железные дороги, каналы, рынки, водосточные трубы, триумфальные арки, бойни и произносил оглушительные речи. Его пламенная энергия не знала покоя. В течение недели он четырнадцать раз переменял цвет почтовых марок. Но все же на него нападали припадки боли и бешенства, которые сводили его с ума; он иногда ничего не мог сообразить целыми днями. Если бы он служил в какой-нибудь частной администрации, это сейчас же заметили бы; но гораздо труднее заметить безумие или бред в управлении государственными делами. В это время как раз государственные служащие составляли ассоциации и федерации, пугая парламент и общественное мнение своим возбуждением. Особенно отличались синдикалистским пылом почтальоны.

Ипполит Церес циркулярно заявил, что они действуют вполне законно. На следующий день он издал второй циркуляр, в котором запрещал всякого рода ассоциации государственных служащих, как незаконные. Он уволил сто восемьдесят почтальонов, потом снова вернул их, выразил порицание и затем дал награды. В совете министров он ежеминутно готов был вспылить; его едва удерживало в границах приличия присутствие главы государства, и, так как он не решался схватить за горло своего соперника, он набрасывался, чтобы отвести душу, на почтенного военного министра генерала Дебоннэра, который его не слышал, так как был глух, и сочинял стихи для баронессы Бильдерман. Ипполит Церес возражал

безразлично против всего, что бы ни предлагал председатель совета. Он совсем обезумел. Одна только способность сохранилась у него: это парламентское чутье, понимание большинства, твердое знание группировок.

Глава VIII.

Новые последствия.

Сессия заканчивалась в спокойствии, и министерство не замечало ничего рокового на скамьях большинства. Видно было, однако, по некоторым статьям больших умеренных газет, что требования еврейских и христианских капиталистов возрастают с каждым днем, что банковый патриотизм требует цивилизаторских экспедиций в Нигрицию, и что стальной трест, горя желанием защитить наши берега и наши колонии, пламенно настаивает на сооружении все большего и большего количества броненосцев. Носились слухи о войне: такого рода слухи возникали ежегодно с правильностью ветров. Люди серьезные не обращали на них внимания, и правительство могло оставить их самим заглохнуть, если только они не усиливались, возбуждая тревогу в стране. Финансисты желали только колониальных войн; народ не хотел никаких войн. Ему нравилось, чтобы правительство вело себя гордо и даже вызывающе; но при малейшей опасности близящегося европейского конфликта возбуждение народа сейчас же передалось бы палате. Поль Визир не тревожился, так как положение дел в Европе представлялось ему совершенно устойчивым. Его только раздражало маниакальное молчание министра иностранных дел. Этот гном являлся на заседания совета с портфелем толще, чем он сам, набитым бумагами, ничего не говорил, отказывался отвечать на все вопросы, даже на те, которые предлагал ему президент республики, и, утомленный упорным трудом, засыпал в кресле на несколько минут, так что виден был только его маленький черный хохолок над зеленым сукном.

Ипполит Церес взял себя в руки. Он кутил вместе со своим коллегой Лаперсоном в компании актрис. Они

часто приходили вдвоем ночью в модные рестораны в обществе закутаных женщин, выделяясь высоким ростом и новыми шляпами. Вскоре они сделались любимыми бульварными завсегдатаями. Они кутили, но оба страдали. Фортюнэ Лаперсон тоже таил рану под броней. Его жена, молоденькая модистка, которую он отбил у одного маркиза, сбежала от него с шоффером. Он еще любил ее. Он был безутешен, и часто, в отдельном кабинете, среди кокаотов, которые смеялись, высасывая омара, оба министра обменивались грустными взглядами и утирали слезу.

Ипполит Церес, хотя и пораженный в самое сердце, не падал духом. Он поклялся отомстить.

Мадам Поль Визир, которая в виду своего слабого здоровья все еще жила у родителей в мрачной провинции, получила анонимное письмо, сообщавшее ей, что Поль Визир, который женился без гроша, проедает с замужней женщиной Э... Ц... (догадайтесь кто) ее приданое, дарит этой женщине автомобили в тридцать тысяч франков, жемчуга в восемьдесят тысяч и идет прямо к разорению и позору. Мадам Поль Визир прочла все это, разрыдалась и протянула письмо отцу.

— Я ему задам,—сказал Блампиньон.—Этот мальчишка, если его не прибрать к рукам, доведет тебя до нищеты. Хотя он и председатель совета, но я его не боюсь.

Выйдя из поезда, Блампиньон отправился прямо в министерство внутренних дел. Его тотчас же приняли. Он вошел в кабинет президента взбешенный.

— Я должен с вами поговорить!—сказал он, размахивая анонимным письмом.

Поль Визир встретил его с улыбкой.

— Очень рад вас видеть, дорогой отец,—сказал он.—Я как раз собирался вам писать... Да, я хотел вам сообщить о вашем назначении офицером Почетного Легиона. Я послал к подписи назначение сегодня утром.

Блампиньон горячо поблагодарил зятя и бросил в печку анонимное письмо.

Вернувшись к себе в провинцию, он застал свою дочь раздраженной и томной.

— Ну что ж, я видел твоего мужа,—сказал он.—Он прелестен. Ты не умеешь прибрать его к рукам.

Вскоре после того Ипполит Церес узнал из маленькой газеты, живущей скандалами (министры всегда узнают из газет о государственных делах), что председатель совета обедал ежедневно у актрисы из Folies Dramatiques, Лизианы, которой он, повидимому, очень восхищается. С этого времени Церес стал с мрачной радостью следить за своей женой. Она возвращалась попрежнему поздно вечером, к обеду или чтобы переодеться и ехать в гости, и у нее было попрежнему выражение счастья и усталости на лице. Полагая, что она ничего не знает, он послал ей несколько анонимных писем. Она читала их за столом перед ним с тем же томным улыбающимся видом.

Тогда он решил, что она не обращает никакого внимания на эти слишком неопределенные предостережения, и что для того, чтобы встревожить ее, нужно дать ей точные указания и предоставить возможность убедиться самой в измене и неверности. У него были в министерстве агенты, на которых он вполне полагался; им поручались тайные разведки, касающиеся национальной обороны, и они в это время как раз следили за шпионами, которых соседняя враждебная нация содержала даже в почтовых и телеграфных конторах. Церес приказал им оставить на время надзор над шпионами и выведать, когда министр внутренних дел выдается с мадемуазель Лизианой. Агенты исполнили в точности свою миссию и сообщили министру, что они несколько раз заставляли председателя совета с женщиной, но что женщина эта не была мадемуазель Лизиана. Ипполит Церес прекратил на этом свои расспросы. Его догадка оправдалась. Роман Поля Визира и Лизианы был придуман самим председателем совета для отвода глаз,—к большому удовольствию Эвелины, которой надоела слава и которая вздыхала о мраке и тайне.

За ними следили, однако, не только агенты министра почт; следил за ними также и префект полиции и, кроме того, агенты министерства внутренних дел, которые считали своим долгом охранять председателя совета. Кроме того, за ними следили несколько агентов, нанятых роялистами, империалистами и клерикалами, затем еще восемь или десять шантажных бюро, несколько любителей,

множество репортеров и целая толпа фотографов, которые появлялись везде, где они укрывали свою скитальческую любовь, в больших и маленьких отелях, в частных домах, за городом, в замках, музеях, дворцах, в темных притонах. Фотографы подстерегали их на улице, прятались в соседних домах, карабкались на деревья, на стены, стояли, притаившись, на лестницах, на площадках, на крышах, в дымовых трубах. Любовники с ужасом замечали, что стены их спальни были пробуравлены в разных местах. Таким образом, раздобыли, за неимением лучшего, клищ с изображением мадам Церес в рубашке, застегивающей свои ботинки.

Поль Визир, раздраженный всем этим, терял временами свое самообладание и свою прежнюю любезность. Он приходил взбешенный в совет и тоже набрасывался с ругательствами на генерала Дебоннэра, столь храброго на поле битвы, но не умевшего поддерживать дисциплину в армии. Он осыпал насмешками почтенного адмирала Вивье де-Мюрена, суда которого без всякой видимой причины шли ко дну.

Фортюэ Лаперсон слушал его с насмешливым видом, удивленно вытаращив на него глаза, и бормотал сквозь зубы:

— Мало ему было отнять у Ипполита Цереса жену, он отбирает у него его проделки.

Эти выходки, известные всем, благодаря болтливости министров, а также благодаря жалобам начальников армии и флота, которые заявляли, что швырнут в лицо свои портфели этому молодцу, но не исполняли своих угроз, ничуть не вредили председателю совета. Они производили самое лучшее впечатление на парламент и общественное мнение, так как обнаруживали его заботливость об армии и национальном флоте. Председатель совета получал со всех сторон знаки одобрения.

Всем группам и отдельным видным людям, которые поздравляли его, он отвечал с твердой простотой:

— Это мои принципы.

И он приказал посадить в тюрьму семь, восемь социалистов.

По окончании сессии Поль Визир, очень утомлен-

ный, отправился на воды. Ипполит Перес отказался оставить свое министерство, где как раз началась бурная агитация синдиката телефонных барышень. Он отнесся к ним с неслыханной строгостью, так как сделался ненавистником женщин. По воскресеньям он отправлялся за город удить рыбу со своим коллегой Лаперсоном, в цилиндре, которого он не покидал со дня, как сделался министром. И оба они, забывая про рыбу, говорили с горечью о непостоянстве женщин и предавались печали.

Ипполит попрежнему любил Эвелину и очень страдал. Однако, в его сердце закралась надежда: он разлучил ее с любовником и всячески старался вновь завоевать ее сердце. Он напрягал для этого все усилия, был необычайно искренним, предупредительным, добрым, услужливым и даже деликатным. Искреннее чувство подсказывало ему, как нужно действовать. Он говорил вероломной жене самые трогательные слова и рассказывал о своих страданиях.

Стягивая на животе пояс панталон, он говорил:— Видишь, как я похудел.

Он обещал ей все, что, по его мнению, могло соблазнить женщину: шляпы, драгоценные камни, поездки за город.

Иногда ему казалось, что он разжалобил ее. У нее уже не было дерзко счастливого выражения лица. В разлуке с Полем грусть ее приобрела мягкость. Но едва только он делал движение, чтобы вновь завладеть ею, как она отстранялась—мрачная и недоступная, опоясанная своим преступлением, как золотым поясом.

Он продолжал, однако, униженно молить, стараясь растрогать ее своими жалобами.

Однажды он отправился к Лаперсону и сказал ему со слезами на глазах:—Поговори ты с ней.

Лаперсон отказался, говоря, что его вмешательство едва ли будет полезным, но дал кое-какие советы своему другу.

— Уверь ее, что ты пренебрегаешь ею и любишь другую. Тогда она вернется к тебе.

Ипполит, следуя этому совету, пустил слух в газетах,

что его всегда можно встретить у оперной певицы Гино. Он возвращался очень поздно или совсем не возвращался, принимал в присутствии Эвелины вид счастливого влюбленного. За обедом он вынимал из кармана надушенное письмо, делал вид, что с восторгом его читает, и казалось, что губы его целуют как во сне чьи-то невидимые уста. Ничего не помогало. Эвелина даже не замечала всего этого. Равнодушная к окружающему, она выходила из своего летаргического состояния только для того, чтобы попросить денег у мужа. А если он не давал ей, она презрительно глядела на него, готовая его же упрекать в том позоре, который она ему приносила. С тех пор, как она любила, она много тратила на туалеты. Ей нужны были деньги, и ни у кого, кроме как у мужа, она не могла их достать. Она была верна.

Он потерял терпение, вышел из себя и стал угрожать ей револьвером.

Однажды он сказал при ней ее матери:—Поздравляю вас! Вы воспитали вашу дочь, как кокетку.

— Уведи меня, мама!—крикнула Эвелина.—Я хочу развестись с ним.

И он любил ее еще больше, чем когда-либо.

В своем бешенстве он подозревал ее, не без основания, в том, что она посылает и получает письма. Он поклялся перехватить их, восстановил сыскное отделение, внес хаос в частные переписки, захватывал биржевые ордера. Из-за него не состоялось несколько любовных свиданий; он был причиной многих банкротств и самоубийств. Независимая пресса стала печатать жалобы публики и поддерживала их своим возмущением. Чтобы оправдать эти произвольные меры, министерские газеты стали таинственно говорить о предполагаемых заговорах, об опасности, грозящей государству, и намекали на монархический заговор. Газеты, не столь осведомленные, давали более точные указания. Говорили о захвате пятидесяти тысяч ружей и о высадке принца Крюшо. Волнение росло; республиканские газеты требовали немедленного созыва парламента. Поль Визир вернулся в Париж, призвал своих коллег, устроил совещание кабинета и заявил через свои агентства,

что, действительно, был заговор против народных представителей, что у председателя в руках все нити, и что начато судебное следствие.

Он приказал тотчас же арестовать тридцать социалистов, и в то время, как вся страна приветствовала его, как спасителя, обошел своих шестисот агентов и увез тайком Эвелину в маленький отель около северного вокзала, где они пробыли до ночи. После их ухода горничная отеля, убирая постель, увидела семь маленьких крестиков, нацарапанных шпилькой у изголовья на стене алькова.

Вот все, чего добился Ипполит Церес ценой своих усилий.

Глава IX.

Последние последствия.

Ревность—добродетель, свойственная демократическим странам, которые она оберегает от тиранов. Депутаты начали завидовать золотому ключу председателя совета. Уже более года, как весь мир знал о его власти над красавицей Эвелиной Церес. Даже провинция, куда новости и моды доходят лишь после полного оборота земли вокруг солнца, узнала, наконец, о незаконной связи в министерстве. Провинция блюдет строгость нравов; женщины там добродетельнее столичных. Причины этого разные: воспитание, пример, простота жизни. Профессор Гаддок утверждает, что добродетель провинциалок создается исключительно их обувью с низкими каблуками.

«Женщина,—говорит он в одной ученой статье в «Revue Anthropologique», — производит на культурного мужчину явно эротическое воздействие лишь постольку, поскольку нога ее образует с полом угол в двадцать пять градусов. Если же угол достигает тридцати пяти градусов, то эротическое впечатление, производимое данной особой, обостряется до крайности. Действительно, от положения ног на земле зависит, при прямом положении, соответственное положение различных частей тела и, в особенности, таза,

так же как взаимоотношения и игра нижней частью спины и мускулами, которые облегают бедра снизу и сверху. И так как всякий культурный человек заражен эротической извращенностью и соединяет идею сладострастия только с женскими формами (по крайней мере, в стоячем положении), расположенными в том равновесии и в том распределении масс, какие обуславливаются вышеуказанным наклоном ноги, то из этого следует, что провинциальные дамы, носящие низкие каблуки, возбуждают меньше желания (по крайней мере, в стоячем положении) и легче соблюдают себя в чистоте».

Эти выводы не были приняты всеми единогласно. На них возражали, что даже в самой столице, под влиянием английских и американских мод, стали носить низкие каблуки, но что это не привело к результатам, указанным ученым профессором. Говорили, что к тому же разница, которую он устанавливал между столичными и провинциальными нравами, быть может, только кажущаяся. Если же она существует, то, повидимому, объясняется тем, что большие города представляют больше удобств для романических тайн, чем маленькие. Как бы то ни было, провинция стала возмущаться председателем совета и высказывать свое неудовольствие. Это еще не было опасно, но могло сделаться таким.

В данный момент опасности не было нигде и была всюду. Большинство оставалось твердым, но лидеры делались требовательными и сердитыми. Ипполит Церес, быть может, никогда бы не пожертвовал своими интересами из желания отомстить. Но считая, что теперь он может, не нанося ущерба самому себе, тайно противодействовать Полю Визиру, он изыскивал способ искусно и тактично создавать всяческие затруднения главе правительства. Далеко не обладая талантом, знанием и авторитетностью своего соперника, он в значительной степени превосходил его умением вести кулуарные интриги. Самые тонкие политики объясняли именно его уклонением недавние поражения большинства. В комиссиях он с притворным безрассудством при-

нимал без сопротивления требования кредитов, на которые председатель совета, как он это отлично знал, не мог согласиться. Однажды его намеренная пеловкость вызвала неожиданное и резкое столкновение между министром внутренних дел и докладчиком бюджета этого департамента. Тогда Церес с испугом остановился. Было бы опасно для него слишком рано свалить министерство. Его находчивая злоба нашла окольный путь для своего удовлетворения. У Поля Визира была бедная кузина легкомысленного поведения, носившая ту же фамилию. Церес во-время вспомнил об этой Селине Визир, открыл ей широкую дорогу, свел ее с подозрительными мужчинами и женщинами и достал ей ангажементы в кафе-шантаны. Вскоре, по его почину, она стала играть в разных Эльдорадо, при свисте публики, пантомимы, изображающие однополую любовь. В одну летнюю ночь она исполнила в кафе-шантане на Елисейских Полях перед возбужденной толпой непристойный танец при звуках бешеной музыки, которую слышно было даже в садах, где президент республики давал бал в честь приезжих королей. Имя Визира, соединенное с этими скандалами, покрывало стены города, наполняло газеты, листки с откровенными виньетками в кафе и на публичных балах, горело на бульварах огненными буквами.

Никто не возлагал ответственности на председателя совета за его недостойную родственницу, но сложилось невыгодное мнение о его семье, и это уменьшало престиж государственного деятеля.

Почти сейчас же после того возник довольно крупный инцидент. В палате по поводу простого вопроса министр народного просвещения и вероисповеданий Лабильет, страдавший болезнью печени и раздраженный интригами и происками духовенства, пригрозил закрытием часовни святой Орберозы и говорил без уважения о национальной девственнице. Вся правая поднялась с возмущением на ноги, как один человек. Левая с видимой неохотой поддержала смелого министра. Лидеры большинства вовсе не желали нападать на национальный культ, приносивший стране тридцать миллионов в год. Самый умеренный из правых, Бигур, превратил

вопрос в запрос, поставив этим министерство в опасное положение. К счастью, министр общественных работ, Фортюнэ Лаперсон, всегда помнивший обязательства власти, сумел исправить в отсутствие председателя совета бестактную и неприличную выходку своего товарища, министра вероисповеданий. Он взмолился на трибуну и уверил палату в почтительных чувствах правительства к небесной заступнице страны, утешительнице во многих страданиях, облегчить которые наука признала себя бессильной.

Когда Поль Визир, вырвавшись, наконец, из объятий Эвелины, явился в палату, министерство было спасено. Но председатель совета вынужден был дать очень большие компенсации правящим классам, чтобы сохранить их расположение. Он предложил немедленно приступить к сооружению шести броненосцев и завоевал, таким образом, расположение стального треста. Кроме того, он снова уверил, что не будет налога на ренту, и велел арестовать восемнадцать социалистов.

Ему пришлось вскоре натолкнуться на еще более опасные затруднения. Канцлер соседней империи в речи о внешних связях своего монарха лукаво намекнул, среди глубокомысленных и острых замечаний, на любовные страсти, которыми вдохновляется политика великой страны. Эта шутка, выслушанная с улыбкой императорским парламентом, не могла не вызвать раздражения в недовольной республике. Она задела национальное самолюбие, которое обрушилось на влюбленного министра; депутаты придрались к пустяшному предлогу, чтобы выразить свое неудовольствие. По случаю комического инцидента, того, что жена какого-то субпрефекта танцевала на балу в Красной Мельнице, палата заставила министра взять на себя ответственность за это, и министерство чуть не пало, удержавшись лишь несколькими голосами. По общему признанию Поль Визир никогда не был так слаб, так вял, не говорил так тускло, как в это плачевное заседание.

Поль Визир понял, что может удержаться лишь каким-нибудь большим политическим предприятием, и решил отправить экспедицию в Нигрицию. Этого тре-

бовали крупные капиталисты и богатые фабриканты, так как экспедиция обеспечивала огромные лесные концессии за капиталистическими компаниями, заем в восемь миллиардов кредитным учреждениям и повышения и награды служащим в армии и флоте. Предлог представился: необходимость отомстить за оскорбление, а также взыскать деньги с неуплативших должников. Шесть броненосцев, четырнадцать крейсеров и восемнадцать транспортов проникли в устье реки Гиппонотамов; шестьсот пирог тщательно пытались воспротивиться высадке войск. Пушки адмирала Вивье де-Мюрена произвели оглушающее действие на чернокожих, которые ответили градом стрел; несмотря на свою фанатическую храбрость, они потерпели полное поражение. Восторг народа, подогретый газетами, состоявшими на жаловании у капиталистов, не знал границ. Только несколько социалистов протестовали против варварского, опасного и подозрительного предприятия. Их немедленно арестовали.

Министр, ободренный поддержкой капиталистов и снова завоевавший симпатии простых людей, казался несокрушимым; один только Ипполит Церес, просветленный своей ненавистью, видел, как велика опасность. Глядя с мрачной радостью на своего соперника, он бормотал сквозь зубы: «Скоро ему конец, мерзавцу!»

В то время, как страна была охвачена славой и делами, соседняя империя запротестовала против занятия Нигриции европейской державой; эти протесты, возобновлявшиеся через все более короткие промежутки, становились все более резкими. Газеты республики, поглощенной делами, скрывали тревожные симптомы, но Ипполит Церес чувствовал приближение грозы; решившись, наконец, рисковать всем, чтобы погубить своего врага, поставив на карту даже судьбу министерства, он тайно работал. Он заказал преданным людям и напечатал во многих официозных газетах статьи, которые, как будто выражая мнение самого Поля Визира, обнаруживали воинственные намерения главы правительства.

Статьи эти вызвали тревогу за границей и обеспо-

коили страну, которая любила солдат, но не любила войны. Когда ему сделан был запрос о внешней политике министерства, Поль Визир дал успокоительный ответ и обещал сохранять мир, поскольку это совместимо с достоинством великой нации. Министр иностранных дел Кромбиль прочел декларацию—совершенно непонятную, потому что она была составлена на дипломатическом языке. Министерство получило сильное большинство.

Но слухи о войне не прекратились, и, чтобы избежать нового опасного запроса, председатель совета распределил между депутатами восемьдесят тысяч гектаров леса в Нигриции и арестовал четырнадцать социалистов. Ипполит Церес ходил по кулуарам очень мрачный и сообщал депутатам своей группы, что он старается провести в совете мирную политику и надеется еще, что ему это удастся.

Изо дня в день мрачные слухи все усиливались и проникали в публику, поселяя в ней тревогу. Поль Визир сам начал бояться. Более всего его тревожило молчание и отсутствие министра иностранных дел. Кромбиль теперь совсем не являлся в совет. Вставая в пять часов утра, он работал восемнадцать часов за своим письменным столом и падал изможденный в корзинку, где курьеры подбирали его вместе с бумагами, которые они продавали военным аташе соседней империи.

Генерал Дебоннэр думал, что вот-вот объявят войну, и готовился к ней. Он не только не боялся войны, но очень желал ее и сообщал свои надежды баронессе Бильдерман. Она извещала об этом соседнюю нацию, которая, по ее совету, приступила к быстрой мобилизации. Министр финансов, сам того не желая, ускорил события. Он в это время играл на понижение: чтобы вызвать панику, он распространил на бирже слух, что война совершенно неизбежна. Соседний император, обманутый его биржевой хитростью и ожидая вступления войск на свою территорию, поспешно мобилизовал войска. Пришедшая в ужас палата провалила министерство Визира огромным большинством (814 голосами против 7, при 28 воздержав-

шихся), но было слишком поздно. В самый день падения министерства соседняя враждебная империя отозвала своего посланника и направила восемь миллионов человек на родину мадам Церес. Война охватила весь мир, потопив его в потоках крови.

Глава X.

Апогей пингвинской цивилизации.

Полвека спустя после событий, о которых мы только что рассказали, мадам Церес умерла, окруженная уважением и почетом, на семьдесят девятом году своей жизни уже вдовой государственного мужа, имя которого она носила с достоинством. Похороны ее были скромны; за гробом шли приходские сироты и сестры святого Смирения.

Покойная завещала все состояние обществу святой Орберозы.

— Увы!—вздыхнул Монуайе, каноник церкви святого Маэля, принимая этот благочестивый дар,—давно уже пора было, чтобы великодушная благодетельница пришла на помощь нашим нуждам. Богачи и бедняки, ученые и неучи отворачиваются от нас. И когда мы стараемся вернуть заблудшие души угрозами, обещаниями, кротостью, насилием, ничто нам не удастся более. Духовенство Пингвинии погибает от бедности; наши сельские священники принуждены заниматься самыми низменными ремеслами, чтобы поддерживать свою жизнь, ходят в стоптанных башмаках и питаются отбросами. В разваливающихся наших церквях дождь падает на молящихся и во время богослужения слышно, как падают камни со сводов. Колокольня собора накренилась и скоро упадет. Святая Орбероза забыта пингвинами, ей больше не поклоняются, храм ее покинут. Над ее ракой, лишенной золотых украшений и драгоценностей, паук в молчании тклет паутину.

Услышав эти жалобы, Пьер Милль, который в девяносто восемь лет не утратил своей нравственной и умственной силы, спросил у каноника, не думает ли он, что когда нибудь это прискорбное забвение святой Орберозы минует.

— Не смею надеяться на это,—вздыхнул Монуайе.

— Жаль!—возразил Пьер Милль.—Орбероза очаровательная фигура. Легенда ее имеет прелесть. Я недавно совершенно случайно набрел на один из очаровательных мираклей, на миракль Жана Виоля. Хотите его послушать, г. Монуайе?

— Охотно, г. Милль.

— Так вот он такой, каким я его прочел в рукописи XIV века:

«Цецилия, жена Никола Гобера, ювелира на Разменном Мосту, вела в течение долгих лет честную и чистую жизнь, и только уже в пожилых годах влюбилась в Жана Виоля, маленького пажа графини Мобек, жившего в отеле Павлина на Гревской площади. Ему не было еще семнадцати лет, фигура и лицо его были очаровательны. Не будучи в состоянии преодолеть свою любовь, Цецилия решила удовлетворить ее. Она заманила пажа к себе в дом, всячески его обласкала, дала ему лакомства и, в конце концов, добилась того, чего желала.

«Однажды, когда они лежали вместе в постели ювелира, мастер Никола вернулся домой раньше, чем его ожидали. Дверь была заперта изнутри, и он услышал через нее вздохи жены, которая говорила: «Сердце мое! Ангел мой! Мышка моя!» Подозревая, что она заперлась с любовником, он стал стучать кулаками в дверь и закричал во весь голос: «Негодяйка, распутница, открой. Вот я тебе отрублю нос и уши!» В минуту такой опасности супруга ювелира обратилась к святой Орберозе и обещала поставить ей большую свечу, если она спасет ее и маленького пажа, который умирал от страха, лежа голый в постели.

«Святая вняла ее мольбе. Она тотчас же превратила Жана Виоля в девушку. Увидев это, Цецилия, успокоившись, стала кричать мужу: «Ах, грубиян! Ах, злой ревнивец! Ивольте говорить повежливее, если хотите, чтобы вам открыли». Продолжая ругать его таким образом, она подбежала к платяному шкапу, вытащила оттуда корсаж, длинную серую юбку, старый чепчик и быстро нарядила во все это обращенного пажа. Потом сказала:

«Катерина, милая моя Катерина, кошечка моя, подите откройте вашему дяде; он не столько зол, как глуп, и ничего дурного вам не сделает». Мальчик, обращенный в девушку, послушался. Мастер Никола, войдя в комнату, застал в ней молодую девушку, совершенно ему незнакомую, и жену свою, лежавшую в постели. «Дурак же ты, дурак!» — сказала ему жена. — Не удивляйся тому, что видишь. Как раз, когда я ложилась в постель, потому что у меня разболелся живот, ко мне пришла Катерина, дочь сестры моей Жанны из Палезо, с которой мы пятнадцать лет как были в ссоре. Поцелуй нашу племянницу. Она того стоит». Ювелир поцеловал Виоля, кожа которого показалась ему нежной. С этой минуты ему ничего так не хотелось, как остаться наедине с племянницей, чтобы хорошенько расцеловать ее. Поэтому он, не медля, увел пажа вниз, говоря, что хочет дать ему вина и пирожных, и как только очутился внизу, стал нежно ее обнимать. И он не остановился бы на одних поцелуях, если бы святая Орбелоза не внушила его честной жене мысль пойти накрыть его. Цецилия застала мужа держащим на коленях мнимую племянницу, обругала его старым распутником, надавала ему пощечин и заставила его просить у себя прощение. На следующий день Виоль принял свой прежний образ.

Услышав этот рассказ, почтенный каноник Монуайе поблагодарил Пьера Миля за него и, взяв перо, стал делать списки предполагаемых фаворитов на ближайших скачках. Он был писцом у букмекера.

Пингвиния тем временем все богатела. Те, которые изготавляли нужные для жизни предметы, сами в них нуждались. У тех, которые не изготавляли их, они были в изобилии. «Это, как говорил один член академии, неотвратимый экономический рок». Великий пингвинский народ не имел более ни традиции, ни интеллектуальной культуры, ни искусства. Прогресс выражался в смертоносных изобретениях, в гнусных спекуляциях, в уродливой роскоши. Столица ее, как все тогдашние большие города, приобрела космополитический и денежный характер: там воцарилось огромное и правильное уродство. В стране наступило полное спокойствие. Это был апогей.

КНИГА ВОСЬМАЯ.

БУДУЩИЕ ВРЕМЕНА. ИСТОРИЯ БЕЗ КОНЦА.

Бедность как-то навеки сроднилась с Гречией, добродетель же является чем-то производным и сознается мудростью и твердым законом.

(Herodot, Hist, VII. c. II).

Разве вы не видели, что это ангелы.

(Liber terribilis).

Bqsfttfusftptusejufbmbvupsjufestpjtufectfnqsfvstb
qsftbxpjsqspdmdbnfusptqjttmdjcsufmbgsbodftttutpvnjt.
bcftdpnqbhojttgobodjfsftrvjejtqpteoueftsjdftttfveqbztfuf
pbsmzldoevoqsfsttfdifuffjsihfboumpqjopo.

Voufnrpjoxfsiejrvi.

Мы присутствуем при зарождении химии, которая займется изменениями, производимыми телом, содержащим количество сосредоточенной энергии, какого никогда еще не было в нашем распоряжении.

Сэр Вильям Рамсей.

§ 1.

Дома все казались недостаточно высокими; их непрерывно надстраивали, строили в тридцать, сорок этажей, в которых помещались конторы, магазины, банки, правления разных обществ. И, разрывая почву все глубже и глубже, прокладывали тунели, выводили подвалы.

Пятнадцать миллионов людей работали в гигантском городе при свете маяков, которые не угасали ни днем, ни ночью. Дневной свет совершенно не проникал сквозь дым, поднимавшийся из фабричных труб, опоясывавших город. Иногда только виднелся красный диск солнца без лучей, скользивший по черному небосклону, изрезанно-

му железными мостами, с которых падал непрерывный дождь копоти и каменноугольной пыли. Это был самый промышленный, самый богатый город в мире. Устройство его казалось совершенным. В нем не осталось и следа древних аристократических или демократических привилегий; все в нем было подчинено интересам трестов. В нем выработался тип, называемый антропологами миллиардером. Это были люди энергичные и в то же время хрупкие, способные создавать грандиозные деловые проекты и комбинации, способные без конца работать за письменным столом, подверженные наследственным нервным расстройствам, которые усиливались с годами.

Как все истинные аристократы, как патриции республиканского Рима, как лорды старой Англии, эти мощные люди соблюдали большую строгость нравов. Появились аскеты богатства: на заседания трестов приходили люди с изможденными лицами, с впалыми глазами, с морщинами на лбу. Более исхудалые, с более желтыми лицами, сухими губами и пламенными взглядами, чем старые испанские монахи, миллиардеры предавались с неугасимым рвением тяжким подвигам банковской и промышленной деятельности. Некоторые из них, отказываясь от всяких удовольствий, от всяких радостей, от всякого покоя, проводили свое жалкое существование в комнате без воздуха и света, где не было ничего, кроме электрических аппаратов, ужинали там молоком и яйцами и спали на походной кровати. Проводя все время в нажимании разных никелевых кнопок, эти мистики, накапливая богатства и не видя даже знаков этого богатства, приобретали совершенно ненужную им возможность исполнять желания, которых они никогда бы не ощутили.

Культом богатства имел своих мучеников. Один из этих миллионеров, знаменитый Самуил Бокс, предпочел умереть, чем поступиться малейшей частицей своего состояния. Один из его рабочих, жертва несчастного случая, не получив никакого вознаграждения от хозяина, обратился в суд за удовлетворением своих законных требований. Но, придя в отчаяние от непреодолимых трудностей тяжбы, впав в горькую нужду, доведенный до отчаяния, рабочий этот пустил в ход хитрость. Благодаря его отчаян-

ной решимости, ему удалось поставить ховяина под револьвер, угрожая его застрелить, если тот ему не поможет. Самуил Бокс ничего ему не дал и позволил убить себя из принципа.

Пример тогда находит последователей, когда дается свыше. Те, у кого не было больших капиталов,—конечно, их было большинство,—подражали и взглядам и поступкам миллиардеров, чтобы быть похожими на них. Все страсти, которые вредят увеличению или сбережению богатств, считались постыдными. Считались непροстителными вялость, лень, склонность к бескорыстным изысканиям, любовь к искусству и, в особенности, расточительность. Жалость осуждали, как опасную слабость. В то время как всякая склонность к чувственности вызывала общее осуждение, грубое удовлетворение безудержного желания, напротив того, считалось простиельным. Насильственность казалась менее вредной для нравов, чем проявление одной из форм энергии общественной. Государство держалось двумя главными общественными добродетелями: уважением к богатым и презрением к бедным. Для слабых душ, еще смущаемых человеческими страданиями, не было другого прибежища, как при творство, за которое их не винили, так как оно способствовало поддержке порядка и прочности учреждений.

Итак, богатые были все преданы интересам общества или, по крайней мере, казались такими. Все давали пример преданности, даже не всегда следуя ему сами. Некоторые очень остро чувствовали тягость своего положения, но из гордости или чувства долга они поддерживали его. Иные пытались вырваться из него, хотя бы на время тайком. Один из них, Эдуард Мартен, председатель железного треста, переодевался иногда нищим, ходил просить милостыню и подвергался грубости прохожих. Однажды, когда он просил милостыню на мосту, он за спорил с настоящим нищим и, охваченный бешеной завистью, задушил его.

Так как весь их ум был направлен на дела, они не жаждали умственных развлечений. Театр, некогда процветавший у них, свелся теперь только к пантомиме и комическим танцам. Даже пьесы, в которых показывались

красивые женщины, вышли из моды. Утратился интерес к красивым формам тела, к блестящим туалетам. Предпочитали кувыряние клоунов и негритянскую музыку и приходили в восторг только при виде бриллиантов, которые носили статистики, проходившие по сцене только для выставки драгоценностей. Восторгались еще длинными брусками золота, которые проносились торжественным шествием по сцене.

Дамы богатого класса были подчинены, как и мужчины, необходимости вести почтенную жизнь. По склонности, свойственной всем культурным нациям, общественное мнение видело в них своего рода эмблемы. Они должны были представлять своей суровой пышностью величие богатства и его неприкосновенность. Старые привычки к любовным приключениям изменились, но прежние светские любовники глухо сменились крепкими массажистами или лакеями. Впрочем, скандалы были редки: они прикрывались всегда путешествием за границу, и принцессы трестов оставались попрежнему предметом общего почета.

Богатые составляли лишь незначительное меньшинство, но их сотрудники из всех классов населения были в полном подчинении у них. Они составляли два класса — класс приказчиков и банковых служащих и класс фабричных рабочих. Первые имели огромную работу и крупные вознаграждения. Некоторым из них удавалось основать собственные коммерческие учреждения. Постоянное возрастание государственных богатств и подвижность частных состояний давало широкое поле для надежд самым умным и предприимчивым. Конечно, в огромной толпе служащих, инженеров и бухгалтеров можно было найти известное количество недовольных и раздраженных. Но общественный строй был так могуществен, что заразил своей строгой дисциплиной даже своих врагов. Сами анархисты были там трудолюбивы и размеренны.

Что касается рабочих, занятых на фабриках в окрестностях города, они страшно пали физически и духовно. Они представляли собой установленный антропологами тип бедняков. Хотя развитие некоторых мускулов, вы-

званное специальным характером их деятельности, могло дать преувеличенное представление об их силе, все же многие признаки указывали на их болезненную слабость. Низкий рост, маленькая голова, узкая грудь отличали их от представителей зажиточных классов, также как множество физиологических аномалий, и, в особенности, частая асимметрия головы или членов тела. Они были обречены на постепенное вырождение, так как наиболее здоровых из них государство забирало в солдаты, и здоровье их не могло долго устоять против проституток и кабаков, расположенных вокруг казарм. Пролетарии становились все более слабоумными. Постоянное понижение их умственных способностей не обуславливалось исключительно их образом жизни. Оно было результатом методичного подбора, производимого хозяевами. Они боялись слишком умных рабочих, потому что те были более способны формулировать законные требования и всячески старались избавиться от них, предпочитая нанимать невежественных и ограниченных работников, неспособных защищать свои права, но достаточно понятливых, чтобы выполнять работу, сильно облегченную благодаря усовершенствованным машинам.

Пролетарии, таким образом, ничего не предпринимали для улучшения своей участи. Им едва-едва удавалось при помощи забастовок сохранять установленную заработную плату. Но и это средство начинало ускользать от них. Неправильность производства, связанная с капиталистическим строем, приводила к столь частым прекращением работ, что во многих отраслях промышленности, как только объявлялась стачка, безработные сейчас же становились на места стачечников. Несчастные производители пребывали в такой мрачной апатии, что ничто их не радовало, ничто не приводило в отчаяние. Они превратились в необходимые и хорошо приспособленные орудия для удовлетворения нужд общества.

Этот общественный строй казался наиболее прочным из всех, когда-либо существовавших, по крайней мере, в человеческом обществе; общественное устройство у пчел и муравьев несравненно прочнее. Ничто не предвещало падения строя, основанного на том, что есть самого силь-

ного в человеческой душе,—на гордости и жадности. Между тем, осведомленные наблюдатели находили много тревожных признаков. Самыми верными, хотя и наименее очевидными, были признаки экономического свойства и заключались в возрастающем перепроизводстве, которое влекло за собой долгие мучительные остановки работ. Фабриканты, правда, считали эти остановки полезными, так как ими можно было сломить силу рабочих, противопоставляя рабочим безработных. Более заметный признак грозящей опасности заключался в неудовлетворительном физиологическом состоянии почти всего населения. «Здоровье бедных таково, каким оно может быть,—говорили гигиенисты.—Но здоровье богатых оставляет желать многого». Найти причины было не трудно. В городе не доставало необходимого для жизни кислорода. Дышали искусственным воздухом. Тресты с'естных припасов изобретали самые искусные химические синтезы, производили искусственные вино, мясо, молоко, плоды, овощи. Но эта пища пагубно действовала на желудок и на мозг. Миллиардеры были лысыми в восемнадцать лет. Некоторые из них проявляли временами опасное слабоумие. Больные, встревоженные, они давали огромные суммы денег невежественным знахарям, и часто вдруг какой-нибудь наглый банщик становился знаменитым доктором или пророком, к которому все бегали. Число сумасшедших увеличивалось с каждым днем. Самоубийства случались все чаще и чаще среди богатых, и многие из них сопровождались странными и жестокими обстоятельствами, свидетельствовавшими о невообразимой извращенности ума и чувств.

Еще один роковой признак сильно тревожил умы. Постоянно повторяющиеся катастрофы сделались обычным явлением и стали занимать все более и более широкое место в статистике. Каждый день взрывались машины, взлетали на воздух дома, падали на улицу целые поезда, переполненные пассажирами, сваливая дома, давая сотни прохожих; падая в глубь земли, они уничтожали несколько этажей с мастерскими и верфи, где работали толпы рабочих.

§ 2.

В юго-западной части города, на возвышении, сохранившем свое прежнее название Крепости Святого Михаила, находился сквер, где старые деревья еще протягивали свои утомленные ветви над лужайками. На северном скате холма инженеры-пейзажисты устроили водопад, гроты, горный поток, озеро и острова. С этой стороны виден был весь город с улицами, бульварами, площадями, множеством крыш и куполов, воздушными дорогами и толпами людей, об'ятыми молчанием и как бы заколдованными расстоянием. Этот сквер был самым здоровым местом столицы. Там небо не застилалось дымом и туда водили гулять детей. Летом кое-какие служащие из соседних контор и лабораторий приходили сюда отдохнуть после завтрака, не нарушая мирной тишины.

Однажды в июне месяце, около полудня, молодая телеграфистка Каролина Мелье села на скамейку в конце северной террасы. Чтобы освежить взор видом зелени, она повернулась спиной к городу. Брюнетка с карими глазами, спокойная и крепкая, Каролина имела на вид лет двадцать пять—двадцать восемь. Почти тотчас же сел рядом с нею Жорж Клэр, служащий электрического треста. Стройный блондин с тонкими и женственными чертами лица, он был не старше ее и казался моложе. Встречаясь почти ежедневно на этом месте, они чувствовали симпатию друг к другу и любили беседовать. Однако, в их разговорах ничего не было нежного, близкого, интимного. Каролина, хотя ей приходилось в прошлом рассказывать в своей доверчивости, быть может, и проявила бы больше чувства; но Жорж Клэр был все время крайне сдержан в выражениях и в манерах. Он придавал беседе исключительно отвлеченный разговор и не отклонялся ни разу от общих рассуждений, говоря, впрочем, обо всем вполне свободно.

Он охотно говорил с нею об устройстве общества и об условиях труда.

— Богатство,—говорил он,—одно из средств к счаст-

ливой жизни. Они же превратили его в исключительную цель существования.

Это положение вещей обоим им казалось чудовищным.

Они постоянно возвращались к известным научным вопросам, особенно им близким.

В этот день они как раз говорили о развитии химических знаний.

— С той минуты,—сказал Клэр,—как радий стал превращаться в гелий, все перестали верить в неизменность простых тел; таким образом отвергнуты были все старые законы о простых отношениях и неистребимости материи.

— Но ведь все-таки есть химические законы,—возразила Каролина. Как женщина, она чувствовала потребность во что-нибудь верить.

Он ответил небрежно:—В настоящее время, когда можно иметь радий в достаточном количестве, наука обрела несравненные средства для производства химических анализов. Теперь в так называемых простых телах начинают различать богатейшие соединения и открывают в материи силы, которые как бы растут обратно пропорционально об'ему материи.

Разговаривая, они бросали крошки птицам; дети играли подле них. Они заговорили о другом:

— Этот холм в постплиоценовом периоде,—сказал Клэр,—заселен был дикими лошадьми. В прошлом году, когда разрывали здесь землю, прокладывая водосточные трубы, нашли густой слой лошадиных костей.

Она спросила, были ли уже люди в эту отдаленную эпоху.

Он сказал, что человек охотился на лошадей, прежде чем попытался приручить их и сделать домашними животными.—Человек,—прибавил он,—был сначала охотником, потом сделался пастухом, земледельцем, промышленником. И эти различные культурные эпохи чередовались в течение такого долгого времени, что человеческий ум не может себе представить.

Он вынул часы. Каролина спросила, не пора ли возвращаться на службу.

Он ответил, что еще нет, что только половина первого.

Маленькая девочка делала пирожки из песка подле скамейки, на которой они сидели. Мальчик лет семи-восьми прошел мимо них вприпрыжку. В то время, как его мать шла на соседней скамейке, он играл один в вырвавшуюся на свободу лошадь, и с той силой воображения, какая бывает только у детей, представлял себе, что он одновременно и лошадь и те, кто ее преследует, и те, которые в ужасе убегают от нее. Он бежал и кричал в чей-то восторг: «Остановите! У! У! Эта лошадь бешеная. Она закусилась удилами!»

Каролина спросила:—Вы думаете, что люди были счастливы в прежние времена?

Ее собеседник ответил:—Они меньше страдали в молодые годы. Они, как вот этот мальчик, играли. Играли в искусство, в добродетель, в порок, в героизм, в веру, в сладострастие. У них были иллюзии, которые их развлекали. Они шумели, им было весело. А теперь...

Он остановился и снова посмотрел на часы.

Мальчик ударился на бегу ногой о ведро девочки и растянулся на песке. Он с минуту лежал неподвижно, потом поднялся на ладонях. Лоб его вздулся, рот раскрылся, и он вдруг разразился рыданиями. Прибежала его мать, но Каролина подняла его с земли и вытерла ему лоб, глаза и рот платком. Ребенок все еще рыдал. Клэр взял его на руки:

— Не плачь,—сказал он.—Я тебе расскажу сказку:

«Рыбак, забросив сети в море, вытащил маленький открытый медный горшочек. Он открыл его своим ножиком. Оттуда вышел дым, который поднялся до облаков; дым этот, сгущаясь, образовал великана, который чихнул так громко, так громко, что весь мир рассыпался в пыль...»

Клэр остановился, сухо засмеялся и порывисто передал ребенка матери. Потом он снова вынул часы, встал с коленами на скамейку, облокотившись на спинку, стал смотреть на город.

Далеко, до самого горизонта, высилось множество домов в своей крошечной громадности.

Каролина посмотрела в ту же сторону.

— Какая хорошая погода!—сказала она.—Солнце свер-

кает и золотит дым на горизонте. Самое тяжелое в культурной жизни,—это то, что мы лишены дневного света.

Он не ответил, устремив попрежнему взгляд на какую-то точку в городе.

После нескольких секунд молчания они увидели, как в трех километрах расстояния за рекой, в самом богатом квартале, поднялся трагический туман. Еще через минуту раздался взрыв, гул которого дошел до них, в то время как к ясному небу вздымалось громадное дерево дыма. Воздух постепенно наполнился едва слышным гулом, в котором сливались крики нескольких тысяч людей. Раздались крики и совсем близко, в сквере.

— Кто это взлетел?

Смятение было велико, так как, хотя катастрофы и были частыми, все же никогда еще не было такого ужасного взрыва, и все поняли, что произошел какой-то новый ужас.

Старались определить место несчастья, называли кварталы, улицы, разные здания, клубы, театры, магазины. Топографические указания становились все более определенными.

— Это взлетел на воздух железный трест.

Клэр положил часы обратно в карман.

Каролина смотрела на него с напряженным вниманием, и глаза ее выражали изумление.

Наконец, она прошептала ему на ухо: — Вы знали? Вы ждали этого? Это вы...

Он ответил совершенно спокойно: — Этот город должен погибнуть.

Она ответила нежно и мечтательно: — Я тоже так думаю.

И оба вернулись спокойно на работу.

§ 3.

Начиная с этого дня, анархические покушения продолжались непрерывно целую неделю. Было много жертв; почти все они принадлежали к бедному классу. Эти преступления вызывали общее негодование. И возмущение проявляли больше всего собственники гостиниц, домаш-

няя прислуга, мелкие чиновники и мелкие торговцы, которым тресты не мешали жить. В рабочих кварталах женщины кричали, что динамитчиков нужно подвергнуть небывалым пыткам. (Их называли старым названием динамитчиков, которое к ним плохо подходило, потому что в глазах этих неведомых химиков динамит был невинным составом, годным лишь для уничтожения муравейников, и они считали детской игрой взрывать нитроглицерин при помощи гремучей ртути). Дела сразу приостановились, и люди несостоятельные первые почувствовали печальные последствия этого. Они стали поговаривать о том, что сами справятся с анархистами. Фабричные рабочие относились враждебно или равнодушно к насильственным действиям. Упадок дел грозил им приостановкой работы или даже общим локаутом, и когда федерация синдикатов предложила всеобщую забастовку, как самое действительное средство воздействия на хозяев и наибольшую помощь революционерам, то большинство профессиональных союзов, за исключением золотильщиков, ответили отказом.

Полиция произвела многочисленные аресты. Войска, стянутые со всех концов национальной конфедерации, охраняли помещения трестов, отели миллиардеров, общественные здания, банки и большие магазины. Две недели прошли без взрывов. Из этого заключили, что динамитчики, которых была, по всей вероятности, небольшая горсть, были все убиты, взяты, попрыгались или спаслись бегством. Все стали успокаиваться. Прежде всего воспряли духом самые бедные. Двести или триста тысяч солдат, размещенных в бедных кварталах, подняли торговлю. Все стали кричать: Да здравствует армия!

Богатые, которые не так скоро начали тревожиться, и успокаивались тоже медленнее. Но на бирже компания игравших на повышение распространяла успокоительные слухи и мощным усилием остановила понижение. Деловая жизнь снова пошла. Газеты, имевшие большой тираж, содействовали успокоению. Они доказывали с патристическим красноречием, что неприкосновенный капитал смеется над покушениями нескольких гнусных преступников, и что общественное богатство страны, вопреки тщетным угрозам, ясно и спокойно идет в гору. Они говорили

все это вполне искренне, и это послужило им на благо. Про покушения забыли, их даже стали отрицать. По воскресеньям на скачках трибуны наполнялись женщинами, обремененными жемчугами и бриллиантами. Все с радостью удостоверились, что капиталисты не пострадали. Миллиардеров приветствовали у жокейских весов громкими рукоплесканиями.

На следующий день взлетел на воздух южный вокзал, керосиновый трест и колоссальная церковь, построенная на деньги Томаса Морселэ. Сгорело тридцать домов; начался пожар в доках. Пожарные выказали поразительное мужество и самопожертвование. Они с автоматической точностью приставляли к стенам свои длинные железные лестницы и поднимались на тридцатый этаж, спасая несчастных из огня. Солдаты мужественно несли полицейскую службу, наблюдая за порядком, и получали двойную порцию кофе. Но эти новые катастрофы вызвали панику. Миллионы людей хотели тотчас же уехать, увозя с собой свои деньги, и толпились в банках, которые, уплатив по требованиям в течение трех дней, заперли кассы, вызывая волнение и смуту. Толпа беглецов, нагруженная багажом, осаждала вокзалы и занимала поезда с бою. Многие, спешившие спрятаться в погреба с запасами провизии, бросились в лавки с естных припасов, которые оберегались солдатами со штыками. Городские власти выказали энергию. Произведены были новые аресты. Тысячи приказов об арестах направлены были против подозрительных лиц.

В течение следующих трех недель не произошло ни одной катастрофы. Были слухи о бомбах, найденных в здании оперы, в подвалах городской думы и у одной из колонн на бирже. Но вскоре выяснилось, что это были коробки с консервами, положенные шутниками или сумасшедшими. Один из обвиняемых объявил на допросе, что он главный виновник взрывов, стоявших, по его словам, жизни всем его помощникам. Эти признания, напечатанные в газетах, сильно содействовали успокоению публики. Уже только в самом конце следствия поняли, что имели дело с притворщиком, не имевшим никакого отношения к покушениям.

Эксперты, назначенные судом, не нашли ни малейшего осколка, чтобы судить о снаряде, которым произведено было разрушение. По их догадкам, новое взрывчатое вещество составлено было из газа, выделяемого радием; предполагали, что электрические волны, вызываемые особым типа осциллятором, распространяясь в пространстве, производили взрыв; но и самые опытные химики не могли сказать ничего точного и определенного. Наконец, однажды два полицейских, проходя мимо отеля Майера, нашли на тротуаре, у отдушники, яйцо из белого металла, снабженное у одного конца капсюлей. Они осторожно подняли его и, по приказу своего начальника, снесли его в городскую лабораторию. Едва только эксперты собрались, чтобы рассмотреть его, как яйцо взорвалось, разрушив амфитеатр и купол. Все эксперты погибли, и в числе их генерал от артиллерии Колен и знаменитый профессор Тигр.

Капиталистическое общество не потеряло присутствия духа от этого нового несчастья. Большие кредитные учреждения снова открыли свои кассы, объявляя, что они будут платить частью золотом, частью государственным бумагам. Бумажная и товарная биржа, несмотря на приостановку всех операций, решила не прекращать своей деятельности.

Тем временем следствие относительно первых арестованных закончилось. Быть может, собранные против них обвинения показались бы при других обстоятельствах недостаточными; но они восполнялись усердием судей и общим возмущением. Накануне дня, назначенного для разбирательства, здание суда взлетело на воздух. При этом погибло восемьсот человек, в том числе много судей и адвокатов. Взбешенная толпа ворвалась в тюрьмы и линчевала заключенных. Войска, посланные для восстановления порядка, были встречены камнями и револьверными выстрелами. Множество офицеров были сброшены с лошадей и растоптаны. Солдаты открыли огонь. Было множество жертв. Войска, наконец, восстановили спокойствие. На следующий день взлетел банк.

Начиная с этого времени, происходили невообразимые события. Фабричные рабочие, отказавшиеся от за-

бастовки, бросились толпой на город и стали жечь дома. Целые полки с офицерами присоединились к рабочим-поджигателям, бегали с ними по городу с пением революционных гимнов и отправились в доки за бочками керосина, чтобы поливать керосином пожар. Взрывы не прекращались. Однажды утром взлетело гигантское здание телеграфа. Над местом, где оно стояло, вдруг взметнулся к небесам призрак гигантской пальмы, высотой в три километра.

В то время, как пылала одна половина города, другая продолжала вести правильную жизнь. С утра попрежнему слышен был стук жестянок с молоком на повозках молочников. На пустынной улице старый рабочий, прислонившись к стенке, держа бутылку промеж ног, медленно жевал куски хлеба с жиром. Председатели трестов оставались почти все на своих местах. Некоторые продолжали выполнять свое дело с героической простотой. Рафаэль Бохс, сын мученика миллиардера, взлетел на воздух, председательствуя на общем собрании сахарного треста. Ему устроили пышные похороны. Похоронное шествие должно было шесть раз перелезть через развалины или проходить по доскам поверх разрытых мостовых.

Обычные помощники богатых, приказчики, чиновники, маклера, агенты, хранили непоколебимую верность. В дни сроков уплаты, оставшиеся в живых служащие взорванного банка отправлялись с векселями по разрытым дорогам, в пылающие дома, и многие погибли в пламени, чтобы получить деньги.

Тем не менее напрасно было питать иллюзии: невидимый враг завладел городом. Теперь гул взрывов царил непрерывно, как еле заметная полная непреодолимого ужаса тишина. Освещение было уничтожено, и город погружен был в мрак, среди которого совершались чудовищные преступления. Только народные кварталы, более защищенные катастрофами, еще держались. Там добровольная стража делала обходы, расстреливая воров. На всех углах улиц можно было натолкнуться на трупы, лежащие в луже крови, с руками, завязанными на спине, с лицом, покрытым платком, и с надписью на животе.

Невозможно было удалить груды развалин и хоронить

мертвых. Зловоние от трупов сделалось вскоре невыносимым. Распространились эпидемии, уносившие множество жертв, а выжившие становились слабыми и лишались рассудка. Голод унес почти всех остальных. На сто сорок первый день после первого покушения, когда явились шесть армейских корпусов вместе с походной и крепостной артиллерией, ночью, в самом бедном квартале, единственном, который уцелел, но был окружен теперь поясом огня и дыма, Каролина и Клэр стояли на крыше высокого дома, держась за руки, и глядели. Радостные песни доносились с улицы, где обезумевшая толпа плясала.

— Завтра все будет кончено,—сказал Клэр.—И это к лучшему.

Молодая женщина, с распущенными волосами, с отсветом пожара на лице смотрела с благоговейною радостью на пламенный круг, который охватывал их.

— Это к лучшему!—сказала и она.

И, бросившись в объятия разрушителя, она поцеловала его со страстью отчаяния.

§ 4.

Другие города федерации тоже пережили время тяжелых смут, потом восстановили порядок. Введены были реформы в учреждения; большие перемены произошли в нравах, но страна не смогла воспрянуть от потери своей столицы и вернуть прежнее благосостояние. Торговля и промышленность пали. Культура покинула страну, которую долго предпочитала всем другим. Страна сделалась бесплодной и нездоровой, и почва, питавшая столько миллионов людей, превратилась в пустыню. На холме крепости Святого Михаила дикие лошади паслись на тучной траве.

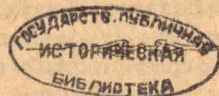
Дни текли, как струи фонтана, и века падали каплями, как вода с концов сталактитов. Охотники делали облавы на медведей на холмах, покрывших забытый город; пастухи гоняли туда стада; землепашцы проводили там свой плуг; садовники сажали салат и грушевые деревья. Они были небогаты и не знали искусства. Дикий виноград и

кусты роз обвивали стены их хижин; козий мех покрывал их загорелые члены; женщины их носили шерсть, которую они сами пряли. Пастухи коз делали из глины маленькие фигурки людей и животных, или пели песни про девушку, которая идет за своим возлюбленным в лес, и про коз, которые пасутся в то время, как шумят сосны и журчит вода. Хозяин сердился на жучков, поедавших его фиги; он придумывал западни, чтобы спасти своих кур от лисицы с пушистым хвостом, и наливал вино своим соседям, говоря:

— Пейте. Стрекозы еще не испортили мое вино. Когда они лягутся, виноград засохнет.

Потом, с течением времени, деревни, полные имущества, и поля, тяжелые зерном, были опустошены вторгнувшимися в страну варварами. Страна переходила несколько раз из одних рук в другие. Завоеватели построили замки на холмах. Культура развивалась. Воздвигались мельницы, кузницы, кожевенные заводы, прядильни, проводились дороги по лесам и болотам; река покрылась судами. Деревни превратились в большие села и, соединившись по нескольку вместе, образовали город, который защитил себя высокими рвами и высокими стенами. Потом, когда город сделался столицей большого государства, ему стало тесно в его укреплениях, и их превратили в зеленые места для прогулок.

Город разбогател и сильно расширился. Все дома казались все еще недостаточно высокими для жителей. Их надстраивали все выше и выше. Строили дома в тридцать и сорок этажей, где помещались конторы, магазины, банки, правления обществ, а в глубь почвы прорывали погреба и туннели. Пятнадцать миллионов людей работали в гигантском городе...



ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие М. Кузмина	7— 10
Предисловие автора	11— 20

КНИГА ПЕРВАЯ. Происхождение.

Глава 1. Жизнь святого Маэля	21— 22
" 2. Апостольское призвание святого Маэля	22— 26
" 3. Искушение святого Маэля	26— 29
" 4. Плавание святого Маэля по Ледовитому океану	29— 31
" 5. Крещение пингвинов	32— 34
" 6. Совещание в раю	34— 41
" 7. Совещание в раю (продолжение и конец)	42— 46
" 8. Превращение пингвинов	46— 48

КНИГА ВТОРАЯ. Древние времена.

Глава 1. Первые одежды	49— 53
" 2. Первые одежды (продолжение и конец)	54— 54
" 3. Раздел полей и происхождение собственности	54— 58
" 4. Первая перепись в Пингвинии	58— 60
" 5. Брак Кракена и Орберозы	60— 62
" 6. Дракон Альки	62— 65
" 7. Дракон Альки (продолжение)	65— 67
" 8. Дракон Альки (продолжение)	67— 69
" 9. Дракон Альки (продолжение)	69— 71
" 10. Дракон Альки (продолжение)	71— 74
" 11. Дракон Альки (продолжение)	74— 77
" 12. Дракон Альки (продолжение)	77— 80
" 13. Дракон Альки (продолжение и конец)	80— 82

КНИГА ТРЕТЬЯ. Средние века и Возрождение.

Глава 1. Бриан Благодетельный и королева Гламоргана	83— 86
" 2. Дракон великий. Перенесение мощей святой Орберозы	86— 89
" 3. Королева Крюша	89— 92
" 4. В малолетство короля Гуна. Литература: Иоанн Тальпа	92— 94
" 5. Искусство: примитивы пингвинской живописи	95— 99
" 6. Марбод	99— 109
" 7. Знаки на луне	110— 111

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. Новые века—Тринко.

Глава	1. Руkenша	112—116
"	2. Тринко	116—119
"	3. Путешествие доктора Обнюбиля	119—123

КНИГА ПЯТАЯ. Новые века; Шатильон.

Глава	1. Достопочтенные отцы Агарик и Корнемюз	124—131
"	2. Принц Крюшо	131—133
"	3. Тайное собрание	134—138
"	4. Виконтесса Олив	138—141
"	5. Принц Босено	142—147
"	6. Падение эмирала	147—154
"	7. Заключение	154—157

КНИГА ШЕСТАЯ. Новые века. Дело о восьмидесяти тысячах охапок сена.

Глава	1. Генерал Греток, герцог Скель	158—161
"	2. Пиро	161—164
"	3. Граф Мобек де-ла-Дандюлинкс	164—167
"	4. Коломбан	167—170
"	5. Достопочтенные отцы Агарик и Корнемюз	170—174
"	6. Семьсот пиротов	174—178
"	7. Бидо-Кокиль и Манифлора. Социалисты.	178—184
"	8. Процесс Коломбана	184—189
"	9. Отец Дуяр	189—193
"	10. Член суда Шоспье	193—197
"	11. Заключение	197—200

КНИГА СЕДЬМАЯ. Новейшие века; мадам Церес.

Глава	1. Салон мадам Кларанс	201—205
"	2. Общество святой Орберозы	205—208
"	3. Ипполит Церес	209—214
"	4. Женитьба политического деятеля	214—218
"	5. Министерство Визир	218—223
"	6. Кушетка фаворитки	223—226
"	7. Первые последствия	227—230
"	8. Новые последствия	230—236
"	9. Последние последствия	236—242
"	10. Апогей пингвинской цивилизации	242—244

КНИГА ВОСЬМАЯ. Будущие времена. История без конца.

Глава	1.	245—250
"	2.	251—254
"	3.	254—259
"	4.	259—260

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

ВЫШЛИ В СВЕТ И ПРОДАЮТСЯ.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

А. ЛЕСАЖ	— Хромой бес. Тюркаре.
Г. ДЕ-МОПАСАН	— Милый друг.
А. ФРАНС	— Остров Пингвинов.
ЛИЛИ БРАУН	— Письма маркизы.

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

№№		
1.	О. МИРБО	— Деревенские рассказы.
2.	МУЛЬТАТУЛИ	— Рассказы.
3.	МАРК ТВЭН	— Приключения Тома.
4.	Г. Д'АННУНЦИО	— Пескарские рассказы.
5.	А. ШАМИССО	— Петер Шлемиль.
6.	А. ФРАНС	— Дело уличного торговца.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

Ч. ДИККЕНС	— Повесть о двух городах.
" "	— Наш общий друг.
" "	— Большие ожидания.
" "	— Жизнь и приключения Никколая Никкльби.
" "	— Жизнь и приключения Мартина Чеззльвита.
" "	— Домби и сын.
А. ЛЕСАЖ	— Жиль Блаз.
Г. ФЛОБЕР	— Саламбо.
"	— Воспитание чувства.
Г. ДЕ-МОПАСАН	— Сильна как смерть.
ВАЛЬТЕР СКОТТ	— Уэверли.
"	— Роб-Рой.
ГОНКУР	— Братья Земганно.
Б. ИБАНЬЕС	— Власть мертвых.

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

МАРК ТВЭН	— Принц и нищий.
Б. ИБАНЬЕС	— Валенсианские рассказы.
ВАЛЬТЕР СКОТТ	— Черный карлик.
Г. УЭЛЛС	— Спящий пробуждается.
„ „	— Машина времени.
„ „	— Невидимка.
А. ФРАНС	— Борьба миров.
М. СЬЕРРА	— Чудо св. Николая.
Л. НОРДСТРЕМ	— Сказка о сорочке.
ДЖ. М. БАРИ	— Благословенная весна.
Г. Р. ХАГГАРД	— Обыватели.
Г. ДЕЛЛА	— Белая птичка.
Г. АФ-ГЕЙЕРСТАМ	— Копи царя Соломона.
Ю. ЮРГЕНСОН	— Сардинские рассказы.
О. ГОЛЬДСМИТ	— Любовь и др. рассказы.
Г. ФЕДЕРА	— Африканские рассказы.
Д. ЛОНДОН	— Векфильдский священник.
Г. БАНГ	— Прометей и др. рассказы.
И. ИЕНСЕН	— Сын волка.
О. УАЙЛЬД	— Четыре диавола.
„ „	— Гиммерландские рассказы.
ВОЛЬТЕР	— Сказки.
С. Т. КОЛЬРИДЖ	— Гранатовый дом.
	— Рассказы.
	— Задиг.
	— Поэма о старом моряке.

ПОПРАВКА.

На титульном листе неправильно напечатана фамилия переводчицы: перевод сделан З. А. Венгеровой.



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ПЕТЕРБУРГ
Проект 25 октября, 6 Невский, 64.



ЦЕНА 18 РУБ.